

П. П. ГНѢДИЧЪ.

СЕМНАДЦАТЬ

РАЗСКАЗОВЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Леведова, Невскій пр., д. № 8.

1888.

П. П. Гнедич. Семнадцать рассказов //Типография Н. А. Лебедева, Санкт-Петербург, 1888
FB2: Your Name, 10 February 2017, version 1.0
UUID: FF557140-B662-4E5C-86B8-9FA785BDF182
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

П. П. Гнедич

Семнадцать рассказов (сборник)

Сборник рассказов.

Санкт-Петербург: Типография Н. А. Лебедева, 1888.

Содержание

Череп (Из записок галлюцината)	0005
Легенда наших дней	0027
Соловьи (Из весенних сказок)	0059
Римский прокуратор	0069
Весною	0094
Из летнего альбома	0137
I. Странная женщина	0137
II. В лесу	0152
Святочные огни (Рождественская сказка) . .	0166
На рельсах	0173
Кулисы	0187
I. Тень отца Гамлета	0187
II. Статуя командора	0211
Мертвецы моря (Из путевых записок)	0244
Обитель	0258
Из старых сказаний	0269
Тайна Юлия Фёдоровича (Страница из детских воспоминаний)	0283
Ораторы	0295
В трясине болотной	0311
ОГЛАВЛЕНИЕ	0362

П. П. Гнедич
Семнадцать рассказов
(сборник)

Череп

(Из записок галлюцината)

Pulvis et umbra sumus...
Horatius[1]

I

Итак, я — человек ненормальный. Они решили, что я ненормален. Мой мозг болен. Да, я знаю, в нём есть что-то, какая-то точка, маленькая, чуть заметная, чёрненькая точка. Обыкновенно она бывает крохотная, — как укол булавки. Но зато бывают времена, когда она начинает раздуваться. Как мыльный пузырь, она растёт, растёт, крутится, — потом займёт всю голову, весь мозг, вытеснит всё из головы, — и тогда, — ах, как тяжело тогда бывает! Ничего больше нет — ни мысли, ни звука, а одна пустота, мрачная, зловещая...

Они говорят, я ненормален. Они — это доктора. Они меня уверили в этом — и я поверил. Но в чём же моя ненормальность? Одностороннее умопомешательство? На чём? Я ни на чём не сосредоточен, я всё сознаю. Я не беснуюсь, я всегда спокоен и тих. Я ничем не зани-

маюсь, — да, это правда, — но что же делать, я не могу заниматься именно потому, что не могу сосредоточиваться. Ужасно не это, — ужасно сомнение. А знаете, в чём я сомневаюсь? В том, именно в том самом, здоров ли я. Это ужасно. Мне иногда ясно кажется: «ну, конечно, сумасшедший, бесспорно...» Но порою другой голос говорит: «Да нет же, нет же, ты здоров, они безумцы!»

А было время, вот ещё недавно, совсем недавно, когда я этому поверил. Я поверил, что мой мозг испорчен, у меня были на это данные. Теперь их нет, но они были. А были они вот почему.

Мне неприятно вспоминать, но я всё-таки припомню, припомню все мелочи и детали. Пусть я переживу это всё снова, как оно ни ужасно. Может быть легче тогда решить этот вопрос. Я расскажу.

У меня на письменном столе лежал череп. Обыкновенный человеческий череп, такой гладкий, лоснящийся, белый. Лежал он всегда под лампою, поэтому на него свет сверху падал. Костяной пузырь, шишковатый такой, весь в буграх. Глазные впадины совсем круг-

лые, как у совы; зубы совсем скверные, кривые. И он не улыбался. Ведь черепа всегда скалятся и смеются, а этот — нет. Бугорки такие были у него над бровями, шли кверху и к середине, и от этого такое страдание было разлито по всей физиономии... И у черепа есть физиономия, ужасная, отчаянная физиономия. Какая карикатура, злая карикатура, насмешка над человеком! И я любил смотреть на эту пародию. Я щёлкал ногтем ему по лбу и говорил:

— Что, брат, попался...

Мне казалось, что он задумывался от моих слов. Конечно, это была фантазия, — ни о чём он не мог думать, потому что был пустой и издавал от моего щелчка такой сухой и короткий звук, совсем мёртвый, глухой. Один раз от сильного щелчка нижняя челюсть сдвинулась на сторону. Я помню, какое получилось выражение, — вроде оскала зубов у бульдога, когда он собирается впиться. Мне в этот миг показалось, что он смотрит на меня. В глубине глазных отверстий зияли узкие, чёрные прорезы и смотрели, смотрели прямо мне в лицо. Была секунда, когда я ощутил мысль: а вдруг

он сорвётся со стола и вцепится мне зубами в шею? Я даже вскочил со стула. Как глупо это, что за пошлость, за ребячество! Но после этого я перестал его щёлкать. Это было тоже ребячество. Над чем я потешался? Над чем-то неведомым, над какою-то таинственной загадкой. Загадку я потом разрешу, да и все мы разрешим её со смертью. Но зачем же, зачем же раньше времени, теперь?..

II

Я смотрел часами на этот костяк. И такую злобою отзывалась иногда его гримаса. Ему не нравилось, что я смотрел на него. Впрочем, нет, это вздор... Ему не могло это не нравиться. Я всё силился представить себе: как это он был обросши кожей, какая тогда у него была физиономия? Ведь не правда ли, это вопрос интересный? Вот только эти впадины глазные, смущают почему-то они меня. Вы знаете, ведь это отверстие ведёт не прямо в пустоту черепа, нет: глазная впадина — это такой костяной мешок, и на дне его отверстия, а через отверстия выходят из мозга в глаз зрительные нервы. Я смотрю на этот мешок, на эту впадину, и как они бесят меня! Бесят потому,

что и у меня, в моей голове, есть такая же впадина, только прощупать я её не могу, потому что всё это покамест заросло каким-то жиром, мускулами, и кровь покамест ещё течёт там: потом течь не будет. А ведь вот тут, в этих самых глазных дырах, были глаза — и глаза, и веки, и ресницы, и глядели они, и моргали. Конечно, это было, иначе как же бы лежал этот череп вот здесь, на столе у меня! А какого цвета у него глаза были, это неизвестно, и никто может быть этого не знает, а если кто и знал, тот забыл. А зубы остались... Кривые какие...

Прежде за ними язык был, и говорил ведь, говорил наверно... Как глупо это, что за большая мысль? Конечно, если есть череп, то был и язык... Но что он говорил, что?.. Нет, этого нет, этого не сохранилось, оно исчезло... И когда эта мякоть, этот мозг ещё сидел в костях, тогда он помнил всё: какая-то извилинка, и чёрт её знает какая, помнила это, в ней всё было записано и нарисовано... И вдруг эта самая извилинка, этот завиток мозга, начал разлагаться, и пошёл самый невозможный, возмутительный, смердящий запах. Клеточки

рассыпались, а с ними рассыпалась и мысль. Где она? Все воспоминания, всё, что наслоилось годами, это уничтожилось, улетело куда-то в пространство. Вон брамины говорят, что ни одна мысль не пропадает, всё существует, и всё можно вызвать, если захотеть... Нет, не надо об этом думать, не надо!..

Я написал гамлетовскую фразу. Он всё повторяет: «Не надо думать!», а сам всё думает. Да, ведь, я отлично знаю, — даром, что мой мозг ненормален, и всё, что я пишу, это тоже ненормально, потому что это плод какого-то болезненного напряжения, — я ведь отлично знаю, что все мои мысли существовали раньше, и другие люди, какие, я их не знаю, может прадеды и прапрадеды мои, думали тоже, и также на череп смотрели, и мучались и терзались неведомою тайною, и так же, как я, ночью, при свете лампы, в полной тишине, сознавали, что всё тлен, всё прах, и нет в мире ничего, кроме одной общей, связующей, неведомой идеи, какой — мы не знаем. Эта идея — лампада, свет жизни, и кто же, кто зажжёт эту лампаду?

Ах, тяжело! Тяжела земная скорлупа. А

сбросить её — нельзя сбросить, это малодушие, всё рвёшься вперёд, рвёшься к чему-то, и не знаешь к чему.

Магдалину с черепом рисуют. Это и тривиально, и тонко, художественно тонко. Беспредельный разврат — евангелие, обнажённая грудь и череп... Какое неотразимое впечатление на эту Марию произвёл череп, после всего, что она видела. Интересно, интересно, что в душе было у неё. Никто не знает, никто и не знал; если знали, то забыли. Только художник чувствует... Чувствует ли? А может ему сказали!..

III

А вот череп, — он всё-таки интересен. И главное: мучает мысль, чем он был, и где тело. В самом деле: где же тело? Он отделён от туловища, он один, он составляет мою, мою неотъемлемую собственность. Я заплатил за него фельдшеру в клинике три рубля, и я — владелец. Три рубля! Как дёшева, как бесконечно дёшева человеческая голова у нас, теперь, в девятнадцатом веке. А фельдшер её варил, эту голову, варил в поташе, чтобы запаха не было. Что же, и меня также будут ва-

ритель, или нет?

Мысль небезынтересная, — правда? Ну, а если вдруг меня положат в котёл, и начнут варить? Гм... подло! Нет, не может быть, я человек состоятельный. Это только плебеев, только разночинцев черепа попадают в такую передрагу. Наши черепа если не в склепах, то где-нибудь в очень почтенных гробах будут тлеть, не иначе. В самом деле, наша основа, наш скелет, таких милых и воспитанных людей, как мы, — ужели он может попасть в чьи-нибудь гнусные лапы? О, нет! — он сделается достоянием червя, и только. Я вот теперь думаю и что-то такое, чёрт его знает что, работает во мне, а потом это будет гниль и мысли никакой не будет, а вместо её будет червь склизкий и гнусный, который начнёт копошиться в голове и поползёт по сгнившим извилинам мозга. Он будет исполнять какое-то назначение, какие-то законы природы. Этого червя нет, он ещё не родился, и не скоро ещё родится. Может быть, лет через сорок, но я сознаю, что он будет существовать, и это сознание ужасно, ужасно! И ничего не будет: ни этого стола, на котором я

пишу, ни пера этого, ни света... всё это исчезнет куда-то... Нет, право не надо думать.

Теперь на очереди ещё вопрос: ну, а жизнь, то есть то самое нечто, что искроу теплилось в этом черепе, — где она? разлетелась она по пространству, или частица её ещё осталась в костях? Кости варили. Но разве жизнь можно выварить или выпарить? Элемент её какой-нибудь всё же остался вот хоть здесь, возле ушной дыры; — тут такой ноздреватый, губчатый отросток. И сидит она, часть этой прежней потухшей души, в этом отростке...

Ну, а если, если душа только спит в этом костяке, если возможно её пробудить, снова вызвать к жизни? Если... о, что мне в голову пришло! Если я набрёл на одну идею...

Можно заставить неодушевлённые предметы двигаться силою воли. Я знаю это, и все знают. Ну, а когда я сосредоточу всю силу на черепе, что если тогда...

IV

И вот, я пятую ночь подряд, запершись, тщательно завесив замочную скважину, чтобы кто не увидел, сижу и магнетизирую че-

реп. Порою мне кажется, что глупо это, бесконечно глупо, но порою я сознаю, что можно кое-чего достигнуть, и сознаю это я вот почему.

Иногда я ощущаю, и очень ясно, что между мною и черепом есть некоторая связь — неуловимая, тонкая. Я чувствую, как часть моей силы переходит в него, и от того я чувствую утомление. Я знаю, я наверно знаю, что и он это чувствует, но не может и не смеет показать! Ему страшна мысль, — как опять выйти из этого затишья, из этой спокойной, безмятежной, вечной спячки. Он, как жаба, притворяется мёртвым, боясь чего-то, — а чего? — жаба и сама не знает: она чувствует грозящую опасность. И этот костяк, — он тоже превосходно ощущает, что ему грозит нечто, и нечто ужасное: возврат к жизни.

И я возвращу его, — я в этом уверен. Вся моя сила; весь мой нервный механизм, весь на него устремился. Я, живой, здоровый человек, — я всё своё передаю этой мертвечине, — и я заставлю её жить.

Но как это трудно, как трудно... Пять дней прошло — и никаких результатов. Времена-

ми, ночью, когда я засыпаю, мне кажется — кто-то говорит. Пока шаркну спичкою, зажгу свечу, — всё успокоится, хотя какой-то проходящий, замирающий звук ещё чувствуется в воздухе. Я знаю, если бы можно было всё осветить сразу, и особенно этот череп, — а он всего в трёх аршинах от меня на столе, — я бы увидел кое-что такое, о чём я теперь только догадываюсь.

Я купил потайной фонарь. Он всю ночь горит у меня на столике у изголовья, он совсем закрыт, — но чуть мне что покажется, — я надавливаю пружинку, и рефлектор сразу озаряет череп. Но он тих и спокоен... Отчего же эти звуки?.. От того, что мой мозг ненормален?

Сны такие всё странные, смутные. Да ещё бы им не быть странными: постоянное мозговое напряжение. Я отлично чувствую, что некоторые завитки в моём мозгу ослабли и не работают как прежде. Они просто не хотят работать. Я чувствую, как они сжимаются. О, это совершенно особенное, возмутительное чувство. Понимаете: внутри головы, — это ужасно. это так невозможно-ужасно!..

А задачу свою я выполняю...

Что это?.. Я взял сейчас в руки его, и мне показалось, что он прилипает к рукам: точно налётом каким он покрылся, точно пот выступил на нём. И он весь покраснел: он стал таким розовым. Ужели это?.. Ага, вот когда надо работать: я, значит, на прямой дороге.

V

Да, да, — я на прямой дороге! Он видоизменяется, он обрастает чем-то, чем-то таким жирным. По углам скопляются какие-то жировые пузырьки. Он всё краснеет, а на висках является какая-то синева.

Когда я протягиваю к нему руки, я чувствую, что между нами сейчас же образуется ток. Из меня точно он вытягивает силу, и именно из моей головы. Оставлять его уже нельзя днём на столе: могут заметить. Надо прятать. И я прячу в шкаф, далеко-далеко запрятываю в угол, и только когда дверь на замке, и замочная скважина завешана полотенцем, тогда только я его вынимаю...

Глазные впадины теперь уже не костяные мешки. Нет, они наполняются чем-то бесформенным, какою-то массой, чем-то сероватым,

студенистым...

Значит я уловил и поймал нечто новое, небывалое, великое. О, да это несомненно было и прежде известно. Я убеждён, что в Индии эти брамины, сидя в своих пёстрых пагодах, совершали такие таинства, что наш мозг захоч бы при одном рассказе о них. А в Египте, эти александрийские маги, великие астрономы, державшие ключи величайших знаний, — они разве не знали этого? Я только смутно воскрешаю давно забытую науку, — я один, без знаний, вооружённый силою воли, иду на встречу необъяснимому, и результат будет...

Я просиживаю и дни, и ночи над этим круглым красным и тепловатым, да, тепловатым шаром. Теперь он уже не тот холодный костяк, нет: я не ощущаю ни теплоты, ни холода, когда прикасаюсь к нему: температура его повысилась.

Домашние смотрят подозрительно, добиваются узнать, что такое я делаю, чем занимаюсь: интересно им это. Да, если бы они знали правду...

Он ещё весь красный, но над глазами ста-

ли показываться редкие чёрные волосы бровей. На висках тоже закрутились три-четыре седоватых волоска. Зубы точно плёнкою какою затянулись сверху и снизу. Плёнка эта не совсем сходится, и там, где должен быть рот, там разрез образовала.

И всё это совсем не гадко, не отвратительно, это только ужасно по впечатлению, а никак не по сущности. Мне даже порою кажется, что ничего этого не существует, что это только отражение чего-то, что находится где-то, что это обман и зрения, и ощущения...

VI

Но зачем же эта кожа, нарастающая слоями, вся в морщинах? Зачем эти старческие губы так плотно сжаты, с такою болезненною, удручающею впечатлением складкою? Глаза? закрыты; череп голый, только на затылке и на висках седые вьющиеся пряди. Лицо не красное, нет, оно лимонно-пепельного цвета. Кожа мягкая, совсем мягкая, как сырое тесто. Щёки обвислые, обрюзгшие. Отчего же это старик? Ведь это молодой был череп?.. Ведь зубы у него молодые?..

Глаза закрыты. Когда я употребляю всю си-

лу воли на то, чтобы они открылись, в веках чувствуется дрожание. Ресницы слабо вздрагивают, иногда щеку сводит судорога, но глаза остаются закрытыми. Я пробовал приподнять их... А, я понял отчего они не открываются: ещё нет глаз, один белок. Когда я надавливал веку, из неё показалась капля: чистая, прозрачная слеза. Она скатилась по носу, на секунду остановилась возле губ и соскользнула на лист бумаги. Когда она засохла, образовалось жёлтенькое пятнышко, как всегда от слёз...

И опять то же представление. Когда темно, и я лежу в постели, а череп на столе, мне всё кажется, что он смотрит. Но как же он может смотреть, когда глаз нет?

Он мой! Он моё создание! Я перелил в него часть себя: ведь вот какой я стал бледный, серый, как состарился. Мне даже кажется, когда я смотрю на себя в зеркало, что становлюсь на него похожим; глаза безжизненные, под ними круги, губы бескровные, тонкие, сухие...

Иногда мне кажется, что я сплю, что проснусь и увижу, что череп голый, и нет ничего, а всё по старому. Но нет, я живу, живу к

ужасу своему! Всё вокруг меня реально. И домашние мои, и обеды, и завтраки, и гости. Вот я один теперь в комнате, часы на столе тикают, сквозь окно слышно, как во дворе выколачивают ковры. В соседней комнате полотёры натирают пол. А у меня, как раз на столе, в аршине от лица, лежит этот череп, — нет не череп, а голова...

Да, — за последнее время началась уже новая фаза её развития, и фаза ужасная...

VII

Я начал замечать, что губы шевелятся, рот слегка открывается, словно дышит. А по ночам опять начались звуки, только уже не такие, как прежде, а какие-то глухие, точно подавленный стон. Протяжно так, ноюще...

Этого я не мог выдерживать. Я выдержал ночь, другую, — но всему есть предел. Ведь я ещё живой человек, мои нервы двигаются, ходят, я не могу этого вынести. Я запер его в шкаф.

Но и там, и оттуда долетают эти ужасные стоны. Правда, чуть слышные, как слабый отзвук чего-то, но я-то их слышу, слышу всем своим существом, всем организмом.

Я готов был бежать, я сходил с ума. Он стонет и днём, с закрытыми глазами, с искривлённым лицом. Я закутываю его в одеяло, прячу в дальние углы, забрасываю вещами, заставляю хламом. Нет, — всё стонет, стонет... Кровь стынет в жилах, в голове всё спуталось...

Я боюсь, что его услышат, что все узнают. Что я скажу, да и что это такое вообще, откуда это?..

Нет, это невыносимо. Надо уничтожить. Я создал, я и разрушу. Я собираю всю силу воли, я хочу, чтобы вся эта материя уничтожилась, но сила воли исчезла во мне, я не могу её сосредоточить на одном предмете, она как-то расплывается, разбегается по сторонам.

Я лежал ночью, мучимый и бредом, и адским видением, и этим стоном. Он стонал в эту ночь непрерывно. Надо было покончить.

Я вскочил, вынул его из шкафа, бросил на стол и засветил фонарь.

У меня над кроватью на ковре, среди оружия висит сабля, ещё дедовская, в узорных ножнах, восточная. Я выхватил её. Я решил разбить его, разнести в куски. Я зажмурился и

ударил, что было сил.

Сабля врезалась в стол: удар соскользнул, череп, подпрыгнув, упал грузно на пол и остановился.

Я схватил его, не помня себя, швырнул на стол, придержал левою рукою, чтобы он опять не спрыгнул, и замахнулся. Глаза его в этот миг открылись.

Это были серые глаза старческие, решительно ничего не выражавшие, кроме какого-то смутного отдалённого страха. Но мне уже было всё равно — и я стал с остервенением наносить удары...

Какую-то резкую физическую боль почувствовал я, или мне это показалось. Фонарь опрокинулся и погас. Было темно. Не знаю, что я рубил, и зачем. Помню, что впотьмах добрался до постели и повалился на неё без чувств.

VIII

Я очнулся от острой боли. Было светло. Я взглянул и ужаснулся. Вся кровать моя была в крови. На левой руке были две глубоких раны, она вспухла, вздулась. Под столом валялась сабля и куски разбитого черепа.

Да, это был череп. Простой жёлтый костяной пузырь, и нигде ни следа мяса или жира. Я подобрал правую рукою обломки, спрятал; спрятал и саблю. Боль была мучительна, невозможна.

Далее мысли мои путаются, и бред, и боль, и запах хлороформа. Доктора в чёрных сюртуках и передниках. Консилиумы, таинственное покачивание головою, и непреложное решение: нужна ампутация.

Нервная горячка, и ужасная операция — отнятие руки, и весь этот ужас физических и нравственных страданий — всё это я перенёс. Перенёс и встал с кровати бодрым, полным новых сил.

Я слышал, что шептали доктора моим домашним, Во время таких болезней слух изоцтрется поразительно. Я слышал всё, что говорилось за три комнаты от меня. Уверяли, что я освобожусь от своей меланхолии, что моя ненормальность быть может пройдёт под влиянием минувших страданий.

Когда я встал, я первым долгом пошёл к шкафу, где лежали осколки разбитого черепа. Они лежали так, как я положил их несколько

недель назад, завёрнутые в газетную бумагу. И на них, и на бумаге была кровь. Но видно было, что это я дотрагивался до них своими окровавленными пальцами. Кости были совсем сухие, гладкие — никакого признака того, что чудилось мне столько времени...

И я согласился с докторами, что у меня начиналось сумасшествие и получило благополучный исход. Это меня изменило к лучшему: я поверил, что моя чёрненькая точка пропала. Пустота заменилась каким-то полным биением жизненного пульса, а моя история с черепом — это безумие.

Какое было бы великое счастье, если бы эта уверенность осталась. Но не могла она остаться, — правда должна была восторжествовать, и она восторжествовала. Я не был безумцем, и всё это была не галлюцинация.

IX

Рассмотрев зарубины на столе, я вспомнил о сабле. Я её ни разу не видел с того самого утра. Я вынул её из ножён; она была вся в тёмных пятнах. Это была кровь. Кровь эта, конечно, моя, потому что я два раза разрубил свою руку.

Я внимательно стал её осматривать. И тут я увидел, что кроме крови есть и ещё кое-что, и кое-что ужасное. По всей длине её были приставши какие-то кусочки, давно подсохшие, но их много было. В одном месте даже сохранился прилипший кусок кости, с какою-то желтоватою массой на исподней стороне.

У меня в виски забило. Опять эта точка стала расти, расти, раздуваться, и заняла всё. Что же это, опять галлюцинация. опять старое?

Но я решил себя проверить. Я уже не доверял себе. Я взял кусок этой кости в коробочку, обернул его ватой и поехал к знакомому доктору.

Мне необходимо было микроскопическое исследование. Оно должно было решить всё, решить мою участь, моё душевное спокойствие, настроение моего внутреннего мира. Оно было произведено, это исследование, и результат его был ужасен Вот что сказал доктор:

— Откуда это у тебя? Это кость и кусочек головного мозга.

Довольно! Этого было довольно! Ничего ужаснее нельзя было сказать. Так вот оно, моё сумасшествие, так вот от чего меня лечат! Они считали меня ненормальным. Если я расскажу кому, что было со мною, — надо мною станут смеяться, мне не поверять.

Ну, и пусть я буду галлюцинат и безумец. Но зато я знаю, чего никто не знает. Это моё достояние. А если не я, а все другие безумцы, что тогда? Если я только шагнул дальше других, шагнул в тот мир, который прочим недосягаем?..

А впрочем, нет, говорить об этом не надо, и пусть меня считают галлюцинатом.

Легенда наших дней

*«...Наши дни — дни чудес. Что ни день,
то новое открытие.*

*Психиатрия идёт гигантскими шага-
ми вперёд,*

*и бесформенная могучая сила облака-
ется в научную оболочку...»*

Из трактата о сомнамбулизме.

I

Неприветное, холодное, свинцовое море шумело глухим осенним шумом, и катило куда-то вдаль свои хмурые волны. Серое влажное небо висело так низко, и по нем неслись разодранные клочья облаков. Ветер пронизывал насквозь, забирался под рукава, трепал флаги, играл лентами и шарфами пассажиров и пел свою заунывную песню, там, высоко, между снастей скрипевшей мачты. Было так сыро и неприглядно на этом большом красивом пароходе, и нигде не было слышно ни смеха, ни шуток, ни веселья. Молча сидели на широких диванах каюты, прижавшись друг к другу, немногие путешественники, сидели кучками, как стадо, застигнутое непого-

дою. Молча прислушивались они к лязгу цепей, к однообразному гулу воды, что пенилась под красными лопастями колёс, к глухим ударам волны, столкнувшейся с крутым бортом судна. И было всем как-то жутко, беспокойно, тоскливо.

Из одного полутёмного угла, где сидели, плотно сжавшись, две женские фигуры, смотрели удивительные глаза. Они были такие большие, чёрные, бездонные, с такими длинными ресницами. И потому они так странно горели, с такою мощью и силою, что всё лицо было бескровное: совсем сребристое, матовое. Точно крови не текло под этою кожею, а разветвлялись нервы, сплетались в узлы и опять рассыпались вереницею нитей, проникая в каждую пору.

Её ручка, бледная, мраморная, холодная, сжала тёплую, мягкую руку сестры. А это сестра её, наверно. Те же глаза, но не такие лихорадочные, более спокойные. Они устали гореть, а в прежнее время, должно быть, тот же огонь теплился в них, и погасал, и сверкал так же ярко. Теперь они точно заволоклись туманною дымкою, какое-то безотчётное бес-

покойство чуется в них, они так часто засти- лаются слезами, особенно когда останавлива- ются на понурой головке сестры. А головка эта так доверчиво прильнула к её плечу и не шевельнётся.

— Зоя, ловко тебе? — спрашивает она.

Зоя слабо, едва заметно, пожала её руку, и в этом пожатии так и чувствовался ответ: «Да, да, очень ловко, ты не беспокойся, ми- лая».

— Ногам не холодно? Может, хочешь пле- дом покрыть?

— Нет, — ответило за неё слабое покачива- ние головы.

Вокруг сестёр, несмотря на грустную моно- тонность, всё-таки чувствуется жизнь. То пройдёт мальчик с подносом дымящегося пунша, то толстый моряк зашелестит газе- тою, то старушка начнёт копать в плюше- вом мешочке, а они сидят как надгробные статуи, недвижно, величаво, спокойно.

— Ах, если бы только он был в городе! — вдруг тихо, еле пошевелинув губами, сказала Зоя.

Сестра вся так и насторожилась, стараясь

поймать едва слышный звук её речи.

— Если мы проехались понапрасну, — продолжала Зоя. — Это... это я не знаю, что бы такое было.

— Он дома, он в городе, наверно, — утешала сестра.

— Он мне необходим, он один, он один мне поможет. Знаешь, если мы застанем его, мне сразу станет лучше; если же нет его... Тогда берегись: я не знаю, что со мною будет.

— Что ты, Бог с тобою!

— Я себя знаю, я знаю себя, Антонина. Ты эти три года не жила с нами, ты не знаешь, что со мною делается. Тебе говорила мама подробно? Да не одни тут нервы, нервы бы ничего, — хуже со мною бывает.

— Что хуже? Я не знаю...

— Хуже, милая, только нет, говорить об этом не надо. Нет, не могу я, и не надо, и рассказывать тебе об этом не следует...

— Зочка, говори: ты пугаешь меня.

— Чего пугаться... Пугаться нечего. А я вот обрадую тебя. Конец этому скоро будет, скоро. Я чувствую, что сегодня или завтра, но исцеление будет! И какое исцеление!

— Ну, значит застанем.

— Да, хотя и сомневаюсь я, а всё же внутри меня точно голос какой-то говорит: хорошо кончится. Я верю в это, Нина. А ты веришь?

— Верю, родная моя.

— Ведь он святой, Нина? Ты знаешь, я во сне его видела. Он весь седой и от лица светится даже. Ты увидишь, ты вот увидишь, что он именно такой.

Глаза у неё загорелись ещё сильнее, они так и вспыхивали и сияли. Точно видела она перед собою этого старичка, таинственного, исцеляющего. Она спустила ноги, встала со скамьи. Когда она встала, соседи как-то странно покосились на неё. Она была небольшого роста и горбатая...

Она уже привыкла к своему уродству, она не скрывала его, не обращала на него внимания. Она равнодушно посмотрела вокруг и опять села возле сестры, уместившись удобнее.

— Так что же с тобою ещё делается? — спросила та.

Но Зоя ничего не отвечала, только крепко прижалась к её плечу. Она не прерывала

больше молчания, и так мертво тихо было вокруг, только слышался лязг цепей, да за бортом шумели волны...

II

Им отвели в городе небольшой, но чистый номер с широкою постелью. Пока они доехали до гостиницы, стало совсем темно. К вечеру стало холоднее, и даже на одном стекле появились прозрачные лепестки морозного узора. Слуга принёс свечи и полотенца. Незнакомая, новая обстановка неприятно давила их. Зое было хуже. Ей стало хуже после печальной встречи, при въезде в город. Только что они, в сгущавшихся сумерках, съехали с пристани, и колёса, мягко прокатившись по деревянным доскам, застучали по камням, им наперерез из улицы появилась погребальная процессия. Факелы смутно мерцали, колыхаясь над широкими шляпами и капюшонами. Чёрные лошади ступали тихо и как-то неслышно. Белый гроб кое-где искрился блестящими точками, да изредка потряхивал пышными, качающимися кистями. За гробом шёл старик в шубе, с открытою лысою головою, и два гимназистика, тоже без фуражек.

Сзади не было больше никого — ни людей, ни экипажа.

— Как ты думаешь, кто она? — спросила Зоя, прижимаясь к сестре и пугливо глядя на чёрные силуэты проходящего кортежа. — Это немка должно быть...

Факелы уходили в глубь сумерек, перебегая, как блуждающие огоньки, путаясь между собою и опять разлучаясь.

— Зоя, как не стыдно, полно! Ты, кажется, готова расплакаться.

Она заглядывала ей в лицо, а та отворачивалась, не хотела, чтобы сестра уловила её выражение.

И теперь, приехав в номер, она всё ещё была полна этою встречею. Ей было так холодно и непривычно. Она куталась в большой платок до самого носа, говорила, что ничего не хочет, ни есть, ни лежать. Она смотрела в окно на незнакомую пустую улицу, по которой свободно гулял ветер. Иногда она останавливалась задумчиво у высокой конторки, зачем-то приткнутой возле двери, и, положив на неё локти и подперев подбородок, стояла так, о чём-то всё думая, что-то соображая.

Сестра долго смотрела на неё, полулёжа на диване.

— Зоя, скажи ты мне, в чём дело? — спросила она наконец.

Зоя оглянулась, подошла к ней и остановилась у стола.

— Зачем тебе знать это? Зачем?

— Зоенька, ведь ты мне сестра, ведь люблю я тебя. Мне тяжело, мне так тяжело смотреть на твои муки. Что с тобою?

Она схватила её за руки.

— Я знаю, ты его потеряла, — ну, ведь это ужасно, конечно. Но у тебя есть, кроме того, что-то.

— Есть.

— Ну, скажи; тебе легче будет, если ты сбросишь с себя этот груз: ведь он тяготит, он давит твою душу.

— Нет.

Она вырвала руки и опять заходила по комнате.

— Я одно тебе скажу: я больна, больна ужасно. Доктора не вылечат меня: если отец Алексей мне не поможет, мне не поможет никто.

— Что же болит у тебя?

— Всё. Сердце болит, дыханья нет. Нет покоя, нет сил жить. И никому я не скажу, что со мною, ни тебе, ни даже ему.

— Зачем же тогда нам было ехать сюда?

— Может быть, молитва его поможет. Если он духовидец, он и без моих слов всё поймёт и узнает, а если он простой обыкновенный человек, то и знать ему это незачем.

Зоя подошла к дивану, опустилась на колени и положила голову на грудь сестры.

— Ах, тяжело, тяжело мне! — прошептала она, чувствуя в себе конвульсии слёз. — Поскорее бы, поскорее увидеть его! Вот, если бы он сейчас был тут, я бы выплакалась перед ним, и так бы хорошо и легко бы мне стало: именно теперь он бы понял меня.

— Хочешь, я пойду за ним?

— Нет, он всё равно не пойдёт теперь, да ведь и сказали тебе, что он только к вечеру вернётся в город. Ты пойдёшь ко всеобщей, оставь меня, а я отдохну здесь... Я не спала, уж теперь и не помню, сколько ночей. Меня так и шатает, когда я хожу. Мне надо, мне надо отдохнуть. Нина, зачем эти три года ты не

была со мною? Я отвыкла теперь от тебя. Ты ведь такая хорошая, ты такая прелестная, милая. Если бы была ты всегда возле меня, поверь, в тяжёлые минуты к тебе я пришла бы... А мама?.. Ты знаешь маму! Разве она может понять это...

Сестра дотронулась до её головы, она горела. Даже пряди волос, что спускались на лоб, и те были такие тёплые, до странности сухие.

— Ты бы легла, разделась, — сказала Нина, — а я всё устрою, пойду и сделаю.

— Да, я может быть лягу, сказала Зоя.

Она поднялась, подошла, шатаясь, к кровати, и стала расстёгивать и развязывать платье.

— Да, мне лучше лечь, — повторяла она.

III

Зоя заснула глубоким, мёртвым сном, под шум и треск топившейся печки, смотря на красный, тёплый свет, лившийся из полуотворенной заслонки. Когда Нина возвратилась и попробовала разбудить её, она не могла этого сделать. Зоя лежала, плотно сжав губы и сомкнув ресницы, тихо дыша, разметав по подушке пряди волос. Она не встала к чаю, не

встала к ужину. Она сквозь сон сказала, что ничего не хочет, ничего не будет ни есть, ни пить.

Нина, не раздеваясь, только расстегнув корсет, прилегла рядом с нею. За занавескою тускло горела свеча. Печка мало нагрела комнату, и они обе покрылись пледом.

— Когда же он будет? — вдруг спросила Зоя.

Сестра вздрогнула, так неожиданно она заговорила.

— В пятом часу он служит заутреню.

— А! Я пойду.

— Не ходи, я одна всё устрою.

— Нет, я пойду. У меня теперь есть силы, ты не бойся за меня.

А голова у неё всё также горела.

— Нина, — вдруг каким-то странным, глухим голосом заговорила она. — Можно тебя спросить... только ты не пугайся, пожалуйста не пугайся...

— Ну? — с каким-то томящим предчувствием спросила та.

— Что... кроме нас, никого нет в этой комнате?

— Никого, что это ты спрашиваешь?

— Только двое... а... а третьего нет?

Нина чувствовала, как дрожь пробежала по её спине, как внезапно сердце словно остановилось биться.

— Третьего, — прошептала она, — как третьего?

— Ты не путайся... Мне всё кажется, что там на стуле сидит кто-то...

В том углу, куда показывала она рукою, было совсем темно, смутно, неопределённо. Что-то такое словно колыхалось, что-то шевелилось там. Нина боялась голову повернуть; она чувствовала, что её охватывает со всех сторон что-то новое, неизъяснимое. Вокруг стояла тишь; она слышала, как кровь бьётся в ней.

— И без тебя мне это всё казалось; кто-то такой белый, недвижимый сидит, и только голову слегка поворачивает ко мне.

Нина хотела говорить, и не могла — язык не шевелился. А Зоя прямо так и смотрела своими большими глазами в этот угол.

— Я часто это вижу, я не знаю что это такое. Даже не вижу, а чувствую. Иногда я чув-

ствую, что кто-то как раз сзади меня стоит. Это ещё ужаснее, я не вижу, и это гораздо хуже: мне всё кажется, что он меня за шею возьмёт.

Ветер в трубе жалобно взвизгнул и загудел выше, куда-то вверх по стене.

— Перестань. — шептала Нина, — перестань, не говори этого.

— И ты знаешь, — продолжала Зоя, — иногда я руку на плече чувствую, или на лбу. Холодная, холодная рука. Опустится ко мне на лоб и давит, давит. Это во сне. Я проснусь, и всё её чувствую. Вот, когда тебя не было, два раза она у меня на лбу была. Милая, ты боишься, я напугала тебя. Ты прости меня; прости, моя радость...

Она вдруг кинулась к сестре, стала целовать её открытые плечи и шею, стала целовать и в голову, и в глаза и в щёки...

— Ах, всё это после того стало делаться... После этой болезни. Ты знаешь... да нет, ты не знаешь ничего.

IV

— Я ведь урод: горб у меня, да ведь горб-то какой! Он совсем вдавил мне голову в плечи.

Глаза говорят, хорошие у меня, умные. А что глаза?... Говорят, все горбатые умны. А умна ли я — я не знаю. Я несчастна, вот это так, — я совсем несчастна. С детских лет я такая. Завистливая я, а умные разве бывают завистливы? Я чувствую, что не такая я, как все. Выйду в сад: солнце светит, цветы вокруг, пчёлы летают, крот роется. Это всё как надо, всё так и должно быть. А сама я, я не подхожу к этому всему. Я урод. Я исключение. Зачем же? Зачем же я, вот именно я — такая? Ведь всем одинаково дано всего поровну, а меня обидели. Так обидели: душу вынули. Нянька маленькую уронила. Выскользнула я из рук у неё. Я много думала именно об этом: вот о том, как я из её рук упала. Ведь ты пойми, ты пойми, что это такое. Она, может, и не виновата была, да я даже уверена, что не виновата. Рука у неё дрогнула, — ну, судорога просто случилась, потянулась она за чем-нибудь, а я этим временем перевалилась, и перевалилась именно на тот бок, на который нельзя было переваливаться. Кувырнулась я, и если бы просто на пол, на ковёр кувырнулась — и это ничего. А то тут как раз угол шкафа, не самый шкаф, а

угол, и я со всего размаха хребтом об него... Ну, успеет она меня подхватить, поймать, секунда какая-нибудь, и всё хорошо, и вся жизнь как надо. А тут от одного взгляда, от одного движения руки, что она не успела сделать, от этого вся жизнь испорчена, поломана, разбита. Ты не думай, — это не спину мою, это жизнь мою сломали! И ты ведь чувствуешь: тут нет злой воли. Злая воля, говорят, это худшее, что есть на земле. Будь злая воля, я согласна буду со всем, с чем хочешь. А то ведь случай, и даже не случай. Рука дрогнула, разве случай это? Это случайность, и какая гадкая, отвратительная, гнусная! Вместо жизни прозябание, тоскливое, сумрачное.

Зоя приподнялась на кровати, оперлась локтем на подушку, и наклонилась над лицом сестры.

— Я ведь тебе как завидовала, когда ты выезжала на балы, на вечера, когда толпою ухаживали за тобою. Ты знаешь, я никогда не показывала этого, но в душе ненавидела я тебя. Я ненавидела, потому что знала, что ты хороша собою, что ты стройна, грациозна. Я ведь считала себя куда умнее тебя, да и лицом ку-

да красивее. Меня считали злою, говорили, что у меня скверный характер, меня боялись, и я рада была, я рада была, что от меня как от дьявола бегали. Я змеёю проползала иногда, напрашивалась на доверие, а потом жалила. Ты помнишь, как муж твой ещё до свадьбы всеми силами избегал меня. А я хотела, я хотела непременно его поссорить и с тобою, и с мамою, и со всеми. К счастью, это не удалось, к счастью... Что ты так смотришь на меня? Ты, кажется, не веришь мне. Я теперь могу признаваться открыто в этом: я уж не такая. Много я испытала, и теперь я уж не та.

Она опять откинулась на подушку.

— И вдруг, Нина, и вдруг со мною случилась невероятная вещь: ты знаешь что: я влюбилась. Да ведь как влюбилась-то! Так, как тебе никогда не любить! Всем существом, до последней фибры, до последней капли крови! Ты знаешь в кого, ты видела его портрет. Он жил в деревне у нас. В деревне, каждый день, с утра до ночи вместе. Ты знаешь, я умею говорить, и он так любил разговоры со мною. Целыми днями гуляли мы, и читали, и говорили. Умница был он, чуткое сердце. Пел он

как хорошо! Что за голос был у него... И так он всегда ко мне тепло относился. Посмотрит так любовно, глаза ласковые такие: «Славная, — говорит, — вы девушка». Ну зачем, ну зачем он это делал?

Она просунула руку под шею сестры и охватила её крепко-крепко.

— Он на меня должно быть и смотрел-то не так, как на женщину смотрят... Только всё же надо было догадаться ему, что ли, да уж не так себя держать. А ведь вот мужчины, они часто женщин осуждают, говорят: кокетки. А это не кокетство с их стороны, если сидят днями возле, говорят, что идти больше никуда не охота, что они так бы тут целый век и сидели? Хорошо это? Честно? Ведь это тоже кокетство, если ещё не хуже в тысячу раз... Я привязалась к нему, вся вот тут, готова с ним уйти куда хочешь, хоть на край света. А он... он, знаешь, что сделал? Ты только слушай... Гуляла я с ним раз, вечер такой душистый был, да прозрачный. Дошли до ручья, переходить надо: он в сапогах высоких, а мне как? «Ничего, — говорит, — я перенесу вас». Схватил в охапку, и знаешь, вот как на немецких кар-

тинках рисуют: так по воде на другую сторону и перенёс. Спустил он меня на землю, а меня всю шатает, как пьяную, стоять не могу, душа к нему рвётся, кажется кинулась бы к нему на шею... Смешно, ведь, правда? Что ж ты не смеёшься, Нина?.. Я сама смеюсь — смешно, ужасно смешно. Как же вдруг, с чего это я в нежные чувства ударилась? Всё целый век ехидничала, а тут на-ка, — растаяла. Характерец-то у меня есть, всё-таки я сдержалась, вида не показывала. Он спрашивает: «Что с вами?» Я хохочу; «С непривычки», — говорю. Так он посмотрел на меня странно, ничего не сказал.

Она положила голову на грудь сестры, та тихо начала гладить её растрепавшиеся пряди.

— И вот тут-то, тут-то я и сделала ошибку, ошибку невозможную, непоправимую! На другой день это было. Ночь я всю не спала перед этим: жжёт подушка, в виски стучит, воздуха мало, бежала бы куда-нибудь, так и полетела бы! На утро выхожу на балкон, — он один там, — не сошлись ещё, все по своим комнатам. Я не чувствую, что делаю что гово-

рю, подхожу к нему. Он спрашивает:

«Что вы бледная?»

«Ночь не спала».

«Отчего?»

«Всё думала».

«О чём?»

Я подняла на него глаза, он с участием таким на меня смотрит.

«О вас думала».

Он удивился.

«Обо мне?»

«О вас. Я ни о чём не могу, как только о вас, думать».

Вижу, смутился он, губу закусил. «Неужели?» — спрашивает, и таким странным голосом. Я отвернулась, смотрю в сторону, говорю: «Что же тут странного, я люблю вас»... Сказала, а сама боюсь взглянуть на него. А он не шевелится, окаменел, точно замер. И молчит, хоть бы слово в ответ. Я чувствую, подо мною земля уходит — всё кружится. «Вы слышали, что я сказала?» — спрашиваю у него, а сама думаю: «Вот-вот сейчас упаду»... Он подошёл ко мне, взял тихонько за руку, и говорит: «Зоя, ошиблись вы»... Как сказал он это, всё

завертелось у меня перед глазами: как, я, я сама сказала, призналась в том, в чём ни одна женщина не должна первая признаваться, а мне в ответ чуть не в лицо смеются! Это с моею-то гордостью, с самолюбием сатанинским!.. Я смотрю на него: «А! — говорю, — так!» да навзничь на пол; гребёнка белая коственная у меня была в волосах — та вдребезги, на мелкие куски...

V

— Полгода я больна была. И отчего? Всё от дьявольского самолюбия. Ты думаешь, любила я так сильно? О, и с этим бы я примирилась. Но примириться с тем, что я сама себя ему выдала — с этим, нет, нельзя примириться с этим, нельзя! Ты скажешь, что история-то это старая, неинтересная. Ах, как интересно это, Нина, — для меня по крайней мере. Поверь, то и интересно, мимо чего все проходят и внимания не обращают. Он ведь испугался моей любви, понимаешь, испугался: как, дескать, я горбунью любить буду. Может она и умна, и глаза у неё такие, но ведь я показать-ся с нею никуда не могу: ведь на неё чуть не пальцами тычут. А нет ничего ужаснее, как

краснеть за близкого! Да, ведь я урод, ну как урода полюбить — ну разве возможно, ты скажи, скажи сама?..

Она остановилась: вдали глухо прозвучал удар колокола, — в ночной тишине он прокатился так плавно, так торжественно. Стёкла слегка звякнули в окнах. Воздух налился этим гулом, — звон застыл в морозном воздухе и мерно дрожал на одной ноте.

— Заутреня это, — сказала Зоя, — мы пойдём с тобою, — и пойду я непременно. Так ведь вот видишь, я понимаю его, хорошо понимаю. Что же ему в самом деле, не брать же меня, коли ничего он ко мне не чувствует. Избегать он меня начал. Вот уж это не хорошо. Просто избегает. Как будто случайно уходит, если вдвоём останемся, боится, чтобы я опять того прежнего разговора не возобновила. Это я-то, — слышишь! Да если б, кажется, умирал он у моих ног, так и тогда я бы ему слова любви не сказала. Раз оттолкнули меня, — уж в другой раз не пойду, не поклонюсь, и к себе не подпущу. И сам он начал замечать потом это. Сломил я себя, пересилила. А только как-то это досталось!.. При той постоянной

мысли, что и горбунья ты, и отрепья какие-то человечества, карикатура, — да ещё так насмеяться. Да и не он насмеялся, а судьба, и жестоко, скверно насмеялась. Вот с того времени и припадки у меня появились: истерика, всякая всячина. Он уехал на юг, — нарочно, кажется, от меня сбежал, совесть замучила. А мне, как он уехал — хуже стало. И всё мне кто-то грезится белый. Вот и теперь: говорю я, а ты думаешь я позабыла его? Я знаю: вот он тут, у самых подушек сидит, на кровати. Я ведь чувствую его. Ты не пугайся: он добрый, он не тронет, — только руки холодные у него. И ты не подумай, что я сумасшедшая, и что мне всякая дрянь мерещится! Я серьёзно тебе говорю, что здесь трое. Если ты не видишь его, это не значит, что его нет. Ты на свои чувства не очень надейся: верь мне, что это так. Видишь, я не боюсь. Мне страшно пред его появлением, — я ведь чувствую, когда придёт он. Я знала, что будет он здесь, оттого и дёргло меня так, как приехали сюда...

VI

Когда они вышли на улицу, метель разыгралась вовсю. По холодным камням мёл су-

хой резкий снег и стлался зубчатыми струйками по мостовой. Ветер выл и стучал в окна и подъезды. Газ судорожно метался в фонарях, слабо освещая тёмные дома. Сквозь частую сетку косого снега, здесь, на улице, ещё торжественнее гудел колокол собора. Вокруг безлюдно было, словно вымерло всё, и их только двое — две женщины в чужом, незнакомом городе. Нет ни извозчиков, ни дворников, ни сторожей...

— А ведь он сзади, как раз сюда, за нами по пятам, — шепнула Зоя. Нина только шаги ускорила.

Но город не был так мёртв, каким казался с первого взгляда. Чем ближе подходили они к церкви, тем сильнее чувствовалось движение. Нужды нет, что ревёт осенняя буря, и на море, там, на окраине города, беснуются седые валы. Нужды нет, что непроглядная мгла вокруг, что теперь самая пора отдыха и сна. Какая-то неведомая сила подняла этих людей с их постелей и повела сюда, к освещённому входу, где толпа нищих ждёт их подачки. Там, за этими дверями, совершается таинство великое. Там есть нечто, что сумело привлечь к

себе всю эту толпу, заставив её мыслить и думать одно и то же.

Церковь низкая, мрачная, длинная, словно древнехристианская катакомба. Воздух спёртый, затхлый, насыщенный всякими испарениями этой серой толпы. Всё спины, спины. А там дальше, в тумане дыма, среди слабого мерцания свечей, в полутёмном алтаре мелькает смутно какая-то фигура, всё наклоняется, выпрямляется опять. Неужели это он?

Сёстры протискиваются дальше и дальше в самый перед. Их пропускают, но смотрят точно с каким недоумением: зачем они тут, в этих модных шляпках и перчатках? Вот впереди они, и видят теперь, ясно видят, что это он, чудесный целитель.

Лицо его бледно и устало. Это не случайная временная усталость — это изнеможение многих месяцев и лет. Он всю жизнь молится без перерыва: он — воплощение молитвы. Порою глаза его закрываются. Смыкает ли их усталость, или наплыв мыслей заставляет его опускать веки? Движения его порывисты, всё сухое тело нервно двигается; мокрые пряди волос прилипают к щекам, свешиваются на

лоб. Он избегает взглядов и сам ни на что не смотрит. Когда он быстро идёт в толпу, к тому аналою, что стоит среди церкви, толпа также быстро отступает, и в той струе воздуха, что раздвинет он и что пахнёт на ближайших, чувствуется какая то особенная, какая-то странная сила. А сам он точно не идёт, а плывёт по воздуху, словно не чувствует шагов под собою.

Порою он улыбается, и с улыбкою смотрит вверх. Порою хмурится, и тогда его лицо строго. Правая рука поднимается с укоризною кверху, голос крепнет, звучит ветхозаветным гневом, и какой-то трепет пробегает тогда по этой толпе.

Возле Зои стоит мещанин, подслеповатый, седенький, с сапогами, от которых несёт ватром, и так всё заглядывает на неё.

— Нездешняя? — спрашивает он.

Она точно повинуется чьей-то воле. Ах, здесь нет в этой церкви своей воли, здесь все как-то действуют механически, все подавлены чем-то. Она не может не ответить, она знает, что это так и нужно, чтобы у неё спросили.

— Нездешняя, — отвечает она.

— К отцу Алексею приехали. В первый раз его видите?

— Да.

— Вот он теперь с пяти часов утра и до десяти без перерыва служение совершает. А потом до часу молебны служит.

И Зоя это не кажется странным. Он именно и может это сделать. Ничего тут такого нет.

— Восторг на него нападает, — продолжает её собеседник, — в ангельском он восторге от службы. И вот, тут-то, в это время, коли кто исцеления просит, тут к нему и придти...

Зоя смотрит на отца Алексея, смотрит так пристально, точно всего хочет пронизать своими большими глазами. И чувствует она, как кружится голова её, от спёртого ли воздуха, от ладана ли...

А в смутном тёмном алтаре совершается великое таинство. Он лежит в ногах перед престолом и что-то тихо про себя читает. Это не делают другие священники: она знает службу. Как-то особенно странно блестит крест и евангелие, и какая-то светлая полоса идёт сверху вниз, какой-то сноп лучей... И не

кажется это ей, а она отлично видит. Она видит, что отец Алексей охвачен этим светом, что он струится вокруг него, колышется. Он стоит, как видение перед нею.

— Зоя, тебе дурно? — слышится голос сестры. — Пойдём отсюда, пойдём, здесь душно.

— Непривычны, — сурово говорит мещанин, подхватывая её с другой стороны рукою. И толпа им почтительно даёт дорогу.

— А того, белого, нет с нами в церкви; он ждёт нас на улице, — думает Зоя.

VII

Зоя недвижно лежала на кушетке, запрокинув голову, когда слуга торопливо заглянул в дверь и полуиспуганным шёпотом сказал:

— Отец Алексей.

Нина так и рванулась ему навстречу. Но для Зои уже поздно: она не может пошевелиться.

— Батюшка! — несвязно лепечет Нина, — вот мы приехали, приехали с сестрою... Посмотрите, что с нею... Помолитесь над нею.

Но отец Алексей не торопится. Он положил свою руку на голову Нины и ласково смотрит на неё.

Странное какое это прикосновение, точно искра по всему телу пробежала! Эта маленькая, худая рука, что слегка надавила темя, что в ней такого дивного и могучего? А она чувствует себя во власти, в полной власти этого худенького священника в синей шёлковой рясе, с большим нагрудным крестом.

— Помолиться о здравии можно, — так же ласково шепнул он, мельком взглянув на Зою.

Он подошёл к ней, она открыла глаза и таким широким взглядом посмотрела на него. Он также ласково и ей улыбнулся.

— Нездоровы?

— Да.

— Ну вот помолимся...

Он совсем изнеможённый опустился на стул.

— Устал я, — проговорил он, опуская голову и кладя руки на колени.

Пока приносили воду в миске и полотенце, его не тревожили, он сидел недвижно. И только словно из приличия спросил у Нины:

— А вы из далека?

— Из Киева.

— Замужем там, сюда навестить своих приехали? Так должно быть?

«Почём он знает? — подумала Нина. — Впрочем, это так возможно, такой вопрос обыкновенный».

— Да, бабушка... А вот сестра...

— Она девица, — утвердительно сказал он. — Вижу, что больна. Ну, приступим.

Он взял Зою за руку.

— Встаньте!

Она опять открыла глаза:

— Я не могу.

Он положил ей руку на голову, она вздрогнула, румянец вдруг заиграл на её щеках.

— Встаньте!

Сколько силы, сколько мощи, сколько уверенности в этом «встаньте!» Тут нет сомнений, тут нет возможности не подчиниться.

И под строгим взглядом священника, она приподнимается с дивана. Она судорожно опёрлась рукою, сделала сильное, порывистое движение и — встала.

Она стояла, точно подняла её не своя сила, а та, что влилась в неё от рукоположения. Она стояла, как во сне. Но она понимала, что

надо молиться, и она молилась.

Тот же голос, что разносился по церкви, раздался теперь тут, в этой маленькой, тесной комнатке. И опять почувствовалась сила, какая-то совсем неземная, нечеловеческая сила в этом служении. Он знает, что значит вера, он знает, что значит «стучите и отворится». Он просит со всем пламенем вдохновенного порыва, он просит «об исцелении недужной», он верит, что исцеление дастся, верить только надо, верить только твёрдо. «Чтобы общность в молитве была», — как сказал он. Надо, чтобы все, все, кто тут в комнате желали одного, и того же. И исцеление будет.

И чем дальше служба, тем больше восторга в отце Алексее: он в экстазе, в полном экстазе. Он не здесь; он где-то далеко отсюда. Он порывисто, сильно погружает крест в воду, и он знает, он хорошо знает, что от этого вода получит целебную силу. И мокрым крестом он благословляет молящихся, и даёт лобызать его, и снова возлагает руки на них.

Зоя со стоном падает к его ногам, но он говорит: «Встаньте», и опять она встаёт.

Он смотрит на неё, и глаза его заволакива-

ются какою-то дымкою.

— Тяжело вам было, — говорит он, — тяжело терять, что мы имеем, но это всё преходящее...

И ещё грустнее делаются его глаза.

— Батюшка, — говорит Нина, провожая его, — батюшка, чем же это всё кончится?

— Никто, как Бог, — отвечает он, дотрагиваясь до её головы, и опять этот ток, этот страшный ток пробегает...

Он ушёл, и вся комната наполнилась тою же таинственную силою. Кажется, самые вещи, до которых он дотрагивался, и полотенце, и этот стул, на котором он сидел, всё это точно жжётся, точно искры выделяет... Что это? Откуда это?..

* * *

Опять море, опять волны, ещё грознее, ещё угрюмее, чем вчера. Голова горит, лихорадочная дрожь. Зоя хорошо доехала до парохода, твёрдо вошла в каюту. Но чем дальше двигаются они, тем более слабеют силы. Глаза закрылись, уста недвижны, мертвенная бледность разлилась по лицу. Пассажиры хлопочут: говорят, что надо будет тотчас по приезде

достать карету. Что же это: конец, или кризис, поворот к лучшему?..

Трудно сказать, но во всяком случае исцеление...

1885 г., ноябрь.

Соловьи

(Из весенних сказок)

Такая дружная весна пришла ранняя, тёплая. Живо стаяли снега, сбежали вниз по гранитным уступам прибрежных скал. Старый мох заблестел на солнце. А солнце горячее, радостное, ласкающее. Старые сосны и ели тихо бормочут что-то про себя, — и не разберёшь, рады они или не рады весне. Зато рябины, берёзы, тополи, клёны, липы — те живут всем существом своим: расправили в тёплом воздухе ветви и покрылись, как пухом, золотисто-зелёными прозрачными листьями.

Под крутыми обрывами утёсов ещё лежат твёрдые льдины: солнечный луч не может добраться до них, согреть, призвать к жизни этот уголок; здесь пахнет сыростью, склепом, могилою. А наверху цветы, яркие, пёстрые, наверху поют птицы, наверху жизнь кипучая, молодая.

Часто на камне, у самой воды, сидят молодые монашки и задумчиво смотрят на беско-

нечную гладь озера. Вода не шелохнёт — ни струйки, ни всплеска. Далеко к горизонту убегают широкое раздолье; из-за горизонта въётся какой-то, едва заметный, дымок. Жемчужные тёплые тучки тают в воздухе. Ветерок с запада набежит перед закатом, свежий такой, влажный. Кровь движется скорее, глаза ярче; даже у старого игумена, на его морщинистых щеках, заиграл не то загар, не то румянец. Томление какое-то охватывает всех, безотчётное беспокойство.

Монастырь купается в весеннем, солнечном разливе. Кресты, как свечи, теплятся над куполами. Живопись словно ярче стала, веселее, и даже те черти, что намалёваны по бокам главных ворот, даже они словно переменялись к лучшему, и как-то добродушнее поджаривают нераскаянных грешников. И в главный собор пробрались золотые лучи и озарили его мрачную внутренность. Мощи угодников, покоящиеся в чудесных раках, тоже пригрелись, хотя и лежат также сурово, торжественно, как и зимою. Порою через открытое окно хлынет молодая струя полного сиренью воздуха, шевельнёт золотыми по-

кровами, и замрёт, будто испугавшись своей игривости, своего веселья в этом таинственном углу собора, где спят священные останки чего-то давно отжившего, прошлого.

Вокруг, по островам, какое веселье! Олени, колыхая своими рогами, бродят по тенистым полянкам. Лисица, как золотисто-бурый мячик, быстро прокатывается в высокой траве на своих низеньких лапках, изредка замирая и хищно-ласковым взором поглядывая на простодушных птиц, слишком низко от земли усевшихся на кусте калины. Иногда из-под куста выпрыгнет заяц и помчится, высоко скидывая задние ноги, куда-то в лес. В траве журчанье и стрекот, в листве — непрерывное пенье... И все живут полною, живою жизнью, держатся друг возле друга, опьянённые истомою весны, справляют её чудный праздник, не стесняясь тем, что эти острова святые, что устав здесь строгий, неуклонный...

* * *

К весне игумен делается всегда строже, взыскательнее. Он дольше остаётся на молитве. Из-за высоких кустов сирени, что насажены у него в садике перед кельею, долго-долго

по вечерам можно видеть через окно, перед лампадою, его приподнятый профиль, закрытые глаза, слегка вздрагивающую седую бороду. Иногда голова пропадает на несколько мгновений, — он творит земные поклоны. Потом снова он появляется в окне, и опять, в прежнем положении, беззвучно шевеля губами, стоит на том же месте.

Душно. Цветы как-то сильнее пахнут, чем всегда. Ночь северная, светлая, дымчатая, голубовато-прозрачная. Золотисто-пурпурный отблеск зари и в полночь сияет над озером. Только в сером ароматном лесу темно, и не спит он: слышно, что каждый куст, каждое дерево, каждая травка кишат мириадами живых существ, — они и плодятся, и любят, и умирают; битва жизни отчаянная, упорная. Зато как в обители тихо!

Кончил молиться архимандрит, склонил свою усталую голову на подушку, вытянул своё старческое тело на жёстком ложе. На его тихий оклик проворно скользнул в горницу белобрысый послушник прибрать одежды и взять обувь. Мальчик не заспанный, не сонный, как зимою, когда его еле-еле можно бы-

ло докликаться. Он за дверью давно уже ждёт этого зова: ему так хочется на воздух, подышать на свободе, уйти из кельи, едва задремлет владыко.

Он повесил рясу на гвоздик в сенях; бросил в угол сапоги, и надвинув чёрную шапочку на брови, выбежал в садик. Хорошо, привольно...

А давно ли зимняя вьюга гуляла по этому садику, мела сухим снегом по открытой равнине озера; давно ли волки стаями перебежали по льду с далёкого берега и выли по ночам на соседних островах? Несколько недель всего прошло, а какая разница!

За решёткою, на выступах каменных погребов, условное место свиданий послушников. Они вполголоса беседуют друг с другом, постукивая хитро вырезанными палочками о камни. Вспоминается детство, и дом, и семья, вспоминаются те предания и легенды, что когда-то рассказывались при них: каким-то особенным чувством бьются их сердца, что-то чарующее, прекрасное...

— Николай, слышишь? — вдруг сказал один, и сжал руку белявого.

— Что? — отозвался тот и прислушался.

— Поёт... Ишь ты.

Все замерли. Точно — поёт. Робко, осторожно, но трель выводит...

— Откуда он? Не было у нас их раньше...

Разговоры затихли.

* * *

Душно архимандриту, сна нет. Так, какие-то неясные обрывки мыслей, однообразные, смутные. То приходит в голову мысль о библиотеке, что надо каталог составить, то думается о казначее, что дряхл он стал, переменить бы надо, да обидится старик. То мечты честолюбия внезапно приходят на ум, — его любимое, заветное мечтание: вдруг придет в монастырь Государь и Наследник, и останутся на несколько дней... И дадут ему орденов и возвеличат...

Окна открыты. Сирень цветёт. В комнате пахнет лампадкою, но сирень всё заглушает. Вдобавок служка поставил на стол у самой кровати букетик ландышей. На монастырских островах ими покрыты целые десятины. Их серебрянные колокольчики ночью совсем одуряют...

Сквозь полусон почудилось что-то старцу.

Он открыл глаза, прислушался, опёрся на локоть. Потом весь приподнялся, спустил ноги с кровати и подошёл к окну.

Нет, ничего не слышно. Он жадно прислушался. Конечно, всё тихо... Он крикнул служку. Никто не отозвался. Старик вздрогнул, поднял глаза на лик Богоматери, и опять стал на молитву.

* * *

Утром почтенный, хотя и очень полный, отец наместник зашёл с обычным утренним поклоном к архимандриту.

— А ночью-то у нас певец объявился, — оповестил он.

Опять вздрогнул игумен: не почудилось, значит, ему.

— Не слыхал я что-то, — возразил он: вздумалось почему-то ему покривить душой.

— А я твои шаги, отче, над головою слышал; казалось мне, ты к окну подходил.

— Не слыхал. Какой же такой певец?

— Соловей. Как есть настоящий.

— Нет у нас соловьёв, и не было никогда, и не слыхано, чтобы они озеро перелетали.

— Ан перелетел должно быть. Почири-

кал-то он не долго, так минут с десять. Послушники говорят, что в роце и раньше что-то подобное слыхивали, дней уже с пятюк, а только к монастырю не подлетал он.

— Может так что-нибудь...

— А вот эту ночь узнаем. Как облюбывал наши кусты, так уж тут и жди его постоянно.

Посмотрел на говорившего игумен, ничего не сказал, только бороду погладил.

* * *

По кельям весть ходила: соловей прилетел. Много птиц у них жило по островам, но соловья лет за сто не запомнят. Да и как ему через озеро, такое пространство?.. Прилетел, да мало того, — под окном архимандрита запел! Наместника беспокоил, всю ночь тот не спал. Среди братии волнение произошло. Все вечера стали ждать, да ведь как! Точно что особенное, необычайное готово свершиться. Работа спорится живее, служба идёт стройнее, лица веселее, оживлённее. Всё горит в праздничном блеске. Как на грех случилась суббота — служба большая, предпраздничная. Гудит и воет огромный колокол, что повешен на срубе перед собором (на колокольню и не

поднять его); весь воздух налит могучими дрожащими его волнами, на берегу звон серебрянее, бархатнее, а с озера, издали, он кажется мелодичным, мягким.

Солнце закуталось в лиловую дымку, отразилось золотым столбом в озере, и кануло за горизонт, сверкнув на прощанье малиновою звёздочкой. Небо стало сереть, розовые нити облаков потускнели на западе. Опять ночь, такая же влажная и душистая.

Давно время инокам ложиться. Но точно перед Пасхою в заутреню, — сна нет ни у кого. Даже древние старцы — и те выползли на воздух. Никого нет в кельях. Все двери и окна настежь. У всех нервы напряжены, все ждут.

И он запел. Он опять запел как раз под окном игумена, в густой акации. И как запел! Затрещал, залился — будто с жизнью расставался. Иноки остановились, замерли, замолкли. Весь монастырь замер. Все насторожили уши, все слушали.

И вдруг, точно эхо, из соседней рощи донеслась такое же точно пение. Их двое? Не один прилетел? Сказочное царство — то царство, где царевна, уколов руку веретеном, по-

грузила в сон весь свой терем, теперь воочию изображалось братиею. Кто где был, так там и остановился, и точно статуею стал.

Ряд картин, ряд грёз, сновидений восстали перед ними. Сколько лет они и не думали о существовании этой птички, и забыли про неё. Она сама себя напонила; прилетела, да и зачирикала тут, в святой обители, у самого собора, у мощей угодников, запела про любовь, про наслаждение, про мирскую скорбь и мирские радости. Запела — и вместе с этим пением восстало всё прошлое: и молодость, и любовь, и счастье, то возможное счастье, которое всё же дано людям...

А к двум певцам присоединились ещё и ещё голоса, — целый хор, целый концерт соловьёв загредел вокруг, — с каждою минутою всё громче, одушевлённее, томительнее...

По сухим жёлтым щекам игумена катились слёзы, но этого никто не видел: он стоял под густою черёмухою.

Август 1886

Римский прокуратор

Синий, зыбучий туман начал редеть. Он стал колыхаться, растягиваться, всё больше и больше делаться прозрачным, наливаясь и пурпуром, и золотом, и теплом. Край неба на востоке вспыхнул ярким божественным пламенем, и могучий солнечный шар тихо начал всплывать и возноситься над великим городом востока.

То наступал чудеснейший и величайший день мира: никогда, — ни прежде, ни потом не было такого дня, — да он и не мог повториться!

Иерусалим зашевелился навстречу молодому ясному блеску. В воздухе пахло весною, — южною, страстною, благоухающею весной. Сады, полные ночной росой, стояли как дымкой закутанные в ласковое сияние утра. Каменные башни были не белыми как всегда, а ярко-алыми, точно ожили они, и тёплая кровь билась под их нежною мраморною оболочкой. Золотые крыши храмов сверкали как малые солнца. Холодные фонтаны журчали в водоёмах; ослы давно ревели на базар-

ных площадях; стада баранов, вздымая пыль, тянулись куда-то по узким улицам. И всё больше и больше прибавлялось оживления, и пёстрые толпы густели всё больше.

И день начался как всегда. Как всегда, накануне великого праздника, было шумно и оживлённо в городе. Как всегда, все торопились покончить с своими делами заранее, чтобы к закату солнца освободиться и спокойно, с чистой совестью есть свою пасху. Между евреев виднелись греки, римляне, египтяне, индусы. Порою спешно проходил куда-то хмурый фарисей или иродианин в блестящей одежде, — и толпа с почтением давала им дорогу. На мулах проезжали с полузакрытыми лицами женщины; раза два мелькнул кое-где римский паланкин; араб на высоком верблюде покачивался над толпой и гремел бубенцами.

Негр, сидевший на ступенях мраморной лестницы дворца, чёрный негр, с жемчужным оскалом зубов и в короткой оранжевой тунике, — не особенно был взволнован приближением целого сонмища евреев, которые вели Кого-то по высокому Тиропеонскому мо-

сту. Было, правда, рано, — но мало ли какая нужда могла встретиться у евреев к прокуратору Рима. И негр болтал на ломаном латинском языке с бритым воином, что опёршись на меч, в шлеме, панцире, с узорным щитом стоял тут же на страже, прислонившись спиной к колонне. Он смеялся и скалил зубы; смеялся и воин; но смеялся сдержанно, как римлянин. Это не был жалкий наёмщик, преторианец, который пошёл за ничтожную плату на службу к ненавистным деспотам. Это был кровный сын Рима, — он прибыл сюда с прокуратором в числе немногих для поддержания славы и чести первого в мире народа. И если негр спокойно глядел на приближавшуюся толпу, то он смотрел на неё презрительно, как и подобает смотреть властелину.

— Что нужно? — грубо спросил он, видя, что толпа валит прямо на портик и готова в исступлении осквернить своими пятами мозаичный пол дивного здания. Улыбка сбежала с его губ, углы рта опустились, брови сдвинулись. — Что нужно?

Из остановившейся толпы выступил священник в широкой одежде, с окутанной по

закону головой, обвешанный кистями и амулетами.

— К прокуратору, — заявил он на чистом римском диалекте. — Привели преступника. Очень спешное и важное дело.

Негр проворно вскочил, мягко переступая босыми ногами по плитам, пробежал портик и только что собрался отворить кедровую тяжеловесную дверь, как на встречу ему показался коротко стриженный писец прокуратора.

И он, этот писец, также строго взглянул на толпу, и головой даже не кивнул, хотя и видел, что пред портиком стоят почтенные седобородые члены синедриона.

Священник гордо поднял голову.

— К прокуратору, по важному делу, — повторил он, смело глядя в глаза писцу. — Преступник обвинён «в оскорблении величества» и осуждён на смерть. Просим прокуратора выйти к нам. Мы сегодня по закону войти в преторию не можем.

Писец вдруг как-то сторбился. Самое ужасное преступление, вызывавшее целые моря крови в Риме, привело сюда эту толпу. Он

слегка поклонился и торопливо прошёл обратно за тёмную кедровую дверь, которая за ним неслышно затворилась.

* * *

Прокуратор был не в духе. Он всегда бывал не в духе, когда приезжал в Иерусалим. Ему казалось, что этот великолепный дворец построен на кратере, что здесь никогда нельзя ручаться ни за что. Он жил в своей Кесарии, сюда же приезжал только на большие праздники, когда скоплялось много народа, и скорее всего можно было ожидать восстания. Он знал этот народ: пронырливый, фанатический, непримиримый. Он ненавидел евреев, а евреи ненавидели его.

Когда писец вошёл к нему, он лежал на тигровой шкуре без обуви, со свитком Горация в руках, прислушиваясь к неясному гулу толпы, раздававшемуся за стенами.

— Не могут войти в преторию! — раздражённо крикнул он, спуская на ковёр ноги, — Закон не позволяет! Завтра пасха! Осквернятся если войдут! Какая еврейская чистоплотность!.. А смертные приговоры постановлять можно и человечно!..

Он отшвырнул привычным движением Горация прямо в большую серебряную вазу, что стояла возле ложа. Его возмущала религиозная самостоятельность евреев; они, прикрываясь ею, очень ловко уклонялись от римского закона. Рим всегда был нейтральным в вопросах религии; а у евреев закон был связан неразрывно с религиозным кодексом пятикнижия Моисея. Римлянин мог осуждать на смерть, но подвластное ему жалкое племя, — как оно могло распоряжаться человеческой жизнью? Для идеала государственного строя пусть гибнут миллионы жертв, — но это должны быть осмысленные жертвы, а здесь, у этих евреев...

— Я к ним выйду! — морщась прибавил он, опускаясь в кресло и протягивая рабу ноги для обуви.

Пока раб, смочив в душистой влаге полотенце, осторожно вытирал их, в голове прокуратора носились смутные тяжёлые воспоминания прошлого. Он уже шесть лет правит Иудеей — и шесть лет постоянные столкновения с этой ненавистной нацией! Он вывесил щиты цезаря Тиберия на портике своего двор-

ца, — вывесил их из почтения к властителю мира, — из-за этого чуть не возгорелся народный бунт. Послали донос цезарю. Цезарь сделал ему выговор и велел щадить религиозную нетерпимость. О, если бы это была религиозная нетерпимость! Он для их же блага, для чистоты, для освежения города вздумал устроить водопровод, провести в центр города по акведуку воду, устроить фонтаны и бани. При храме была казна, было огромное количество денег, на что же их и употребить, как не на эту существенную потребность! Но сам же народ, сам же народ заволновался, стал протестовать, что священные деньги идут на житейские нужды. Это был открытый мятеж, открытый бунт. И прокуратор поступил варварски, гнусно-варварски. Он передел своих наёмников в еврейские одежды. и они, сокрывши под широкими складками кинжалы, рассыпались в толпе. Тайный убийца с политической целью, — да разве это было чуждо Риму? Он предложил толпе разойтись, оставить свои крики, — но крики продолжались. Тогда он махнул платком, убийцы обнажили мечи, а толпа в ужасе ринулась по

домам, оставив сотни трупов на площади... Зачинщиков или невинных? — этого Пилат не знал, да и не хотел знать.

И вот опять этот праздник, от которого он не может отделаться, как представитель римской власти, той власти, которая не имеет права даже внести своих серебряных орлов, значки своих легионов, в покорённый город. Опять эта бушующая толпа. Надо быть с ней сдержанным, не то опять донос к цезарю. Но надо поддержать величие власти, не следует уступать и пяди своих прав. Кого они ещё там судят?

Он смелыми, гибкими шагами пошёл к выходу, небрежно набросив на плечо красивыми складками драпировавшуюся тогу. Он ещё не выходил сегодня из дворца. Яркое солнце охватило его целым морем лучей. Меж смоковниц, тополей и кипарисов сада кружились голуби, водомёты лили жидкое серебро в бассейны, и такая живительная весна во круг!

Толпа замолкла при его выходе. Смутный гул утих. Опытный взгляд прокуратора сразу увидел нечто необычайное: вся знать еврей-

ского духовенства была на лицо, и поместилась впереди полукругом. Она сверкала дорогим шитьём и дорогими тканями, — и какой это был контраст с бушующей, опалённой, грязной толпой, что волновалась там, сзади, что-то покрикивая, подымая руки, поёживаясь как зверь, ожидающий добычи. А между священников стоял Кто-то, Тот, Кого они привели.

Пилат вздрогнул. Простая, полуразорванная одежда, бледность, следы поруганий на лице и руках... Но ни робости нет, ни страха, взор спокоен и лучист. Прокуратор быстро оторвал от Него свой взгляд и перевёл его на синедрион.

— В чём вы обвиняете этого человека? — спросил он.

* * *

В первый миг синедрион смутился. К правителю привели Осуждённого на смерть только для утверждения приговора: самовольно казнить они не могли. А прокуратор, по-видимому, собирался снова Его судить, начать новые расследования по делу.

— Когда бы Он не был злодей, — раздался

строгий голос из сонма священников, — мы бы не привели Его к тебе.

То было первое оскорбление, нанесённое Риму. Так дерзко с властителями не говорят. Прокуратор повернулся, чтоб идти.

— Так и судите Его сами, по вашему закону, — ответил он, делая шаг к двери.

— Мы не можем никого приговаривать на смерть, — загремело ему вслед, — Он преступник: Он развращал народ, запрещал платить подать цезарю, Он царём называл себя!

Пилат опять встретился взглядом с Приведённым. Он тих и молчалив, точно не ради Его всё это бурливое собрание. Невыразимое отвращение к толпе, желание не дать ей в руки её жертву закипело в римлянине. То не был порыв человеколюбия, то было желание властителя показать свою силу, не утвердить приговора. Изю всех обвинений, которые он расслышал в этом гоме голосов, существеннее всего был крик. «царём называл себя!» — это уже колебания римской власти...

— Иди за мной! — сказал прокуратор.

Толпа смолкла. По мраморным ступеням поднимается Обвинённый. Нога Его ступает

по агату и ляпис-лазури. Воин пропускает Его в дверь. Он первый раз во дворце: как великого учителя — Его сюда не допускали, как преступника — Его пригласили сюда.

И Он идёт мимо золотых курильниц, мимо ярко расписанных стен, мимо ваз и чаш, мимо сказочного великолепия Рима. Восточные ковры поднимаются для Него и пропускают вслед за Пилатом.

Здесь, среди этой роскоши, ещё ярче выделяется Его бедная сельская одежда, выжженная южным солнцем, вынесшая те бури и невзгоды, когда головы Ему некуда было преклонить. И ещё виднее здесь следы оскорблений, что нанесли Ему за ночь дерзкие рабы в ожидании судилища.

* * *

Толпа осталась на солнце. — Зачем же прокуратор увёл Его? О чём он там будет говорить с Ним? Новое расследование по делу? — Ведь надо непременно покончить с Ним, который открыто в храме обличал их в разврате.

Они целую ночь судили Его, а если не побии камнями, так только потому, что

ненавистные римляне не позволяли им осуждать на смерть. Эти язычники, эти идолопоклонники, творящие возлияние Бахусу и Венере, — они сковали игом рабства избранный народ Божий, они не позволяли ему распоряжаться даже со своими лжеучителями! Их смертный вердикт не утверждает какой-то римский губернатор, имеющий над ними власть, потому только, что он окружён римскими наёмниками, нанятыми на их же иудейские деньги. Ему стоит топнуть ногой — и ото всей толпы останется кровавая лужа...

Время идёт. Негр вышел, и опять присел на ступени, и опять сверкает своими зубами, и опять римский воин через плечо смотрит на синедрион. Солнце всё горячее. — Седые бороды фарисеев дёргаются всё недовольнее. И вот опять заколыхалась занавеска. Взгляды всех устремились на прокуратора. Лицо его спокойно, недвижно. Он обвёл глазами толпу, и пропуская мимо себя Обвинённого ясно и громко сказал:

— Я никакой вины не нахожу в Нём.

Крик изумления и ярости вырвался у скопища: толпе нужна жертва — зачем же с са-

мого раннего утра она беснуется в ожидании крови?

— Он смутил всю Галилею, всю свою родину, Он богохульствует, этот галилеянин...

«Галилея, галилеянин!.. как всё это можно просто и скоро покончить... Над Галилей есть свой владыка: Ирод Антипа, пусть он и судит своего преступника»...

И Пилат предлагает священникам вести обвинённого к их собственному царю, который мог утверждать их приговоры. Он видел, что оправданием Подсудимого недовольны, обвинить Его он не мог и не хотел. Гораздо лучше остаться в стороне, тем более, что наступает время, когда он привык в обществе двух-трёх друзей садиться за изысканный стол... Вдобавок с Иродом у них были кой-какие недомолвки, — теперь этим знаком внимания Ирод будет польщён, и он опять сойдётся с ним, Его дружба ну хотя бы обезопасит от лишнего доноса, — а разве этого мало?

Толпе всё равно — тут ли произнесут приговор, или в старом Асмонеиском дворце, — и снова крик в угрозы, и снова сонмище валит куда-то... Прокуратор смотрит с отвращени-

ем ей вслед; точно ядовитый колоссальный червь с кровожадным брюхом, волнами, конвульсивными движениями, то напирая на передних, то отставая, ползёт отвратительная процессия.

— Чумные собаки! — произнёс им вдогонку прокуратор, и пошёл в триклиний, где его уже дожидались за столом.

Ему полил на руки воду тот же негр. Он наскоро вытер их о расшитое восточным рисунком полотенце, и привычным, свободным движением лёг на среднее ложе. Складка на его лбу не разглаживалась, глаза сверкали недовольно, где-то там, в глубине зрачков, теплился какой-то недобрый огонь, готовый спалить дерзкого, решившегося приблизиться слишком смело к прокуратору. Даже обычные друзья его, лежавшие на соседних ложах, и те не решались заговаривать с ним.

* * *

«Prandium» — полдневный стол — блистал чудесными яствами и винами. Уже три перемены блюд уносились рабами, а прокуратор всё не проронил не слова. Он не примечал рыб, плававших в необыкновенных соусах,

фазанов, которые как живые стояли, с блестящими глазами, во всём блеске золотисто-багряных перьев на длинном хвосте, качавшемся далеко где-то за блюдом; он лениво осушил одну чашу вина, разбавив её водою, и бросив на дно несколько кусков пряностей. Перед ним неотступно стоял Тот, приведённый к нему на суд, Этот чистый взгляд, оттенённый тёмными бровями, светлые вьющиеся волосы, спокойствие и благородство в чертах, это так мало походит на обычный смуглый еврейский тип, к которому все привыкли, который тысячу лет назад таким же изображался на египетских картинах, в ту отдалённую эпоху, когда страна фараонов заставляла излюбленный народ Божий строить языческие памятники. Нет, — сегодняшней преступник имеет нечто до того отличное от еврейства, столько силы, мощи и выражения в чертах, что Его нельзя равнять с этой грубою толпою... И как мог он не вырвать Его из когтей этих гнусных фарисеев, зачем он отослал Его к Антипе, который, быть может, произнесёт обвинительный приговор?..

Пилат отшвырнул чашу. Она покатилась

по полу, расплёскивая остатки вина. Он приподнялся на локте.

— Эти псы думают, — заговорил он, — что такой порядок может долго держаться. Цезарю благоугодно быть терпимым. Я преклоняюсь перед цезарем и его волей. Но примет власть Рима другой, — и кончится тем, что в этом Иерусалиме не останется камня на камне. Щадить их нельзя. Такой народ не щадят. Меня обвиняют за тайные убийства. Но не лучше ли подавить кровью мятеж в самом зародыше. А то опять призывать войска, лить нашу благородную римскую кровь... Весь Иерусалим не стоит чаши крови римского полководца!

— Зачем раздражаться, — хладнокровно заметил его сосед, лысый старик, наевшийся и упившийся, внимательно рассматривавший перед тем чеканку маленького кубка, который ему не удавалось обвить белой лилей, из числа тех благоухающих цветов, что были разбросаны по столу и ложам. — Ты исполняешь свой долг по отношению Рима и цезаря. Философы говорят — долг это всё. А свои убеждения ты можешь схоронить ку-

да-нибудь подальше, — ну хоть утопить на дне той чаши, которой место скорее на столе, а не на полу, — а на полу она будет лежать до тех пор, пока ты не позволишь рабу поднять её, сам же он не посмеет этого сделать. — Тебе скорее надо радоваться.

— Чему? — удивился прокуратор.

— Тому, что у тебя идёт дело к миру. Я говорю об Ироде.

Пилат поморщился.

— А! Я знаю, — продолжал собеседник, — что ты его недолюбливаешь. Я знаю, что это не человек, а подонки человека, — так, какой-то осадок и грязь. Он женился на жене своего брата...

— Вдобавок она ему племянница, — добавил прокуратор.

— Да! Конечно это кровосмешение, и кровосмешение самое гнусное... Таких людей надо бы швырять с Терпейского утёса, потому что это гораздо хуже чем обольщение красавицы-весталки... Но, прокуратор! Надо вооружиться философией! О, философия великая вещь! Ты его можешь презирать, ненавидеть до глубины души, — но ты должен ему миро-

любовно протягивать руку. Ты можешь не любить своего товарища по легиону, но когда войско идёт в битву, ты будешь служить одному с ним делу и помогать ему в случае опасности. Ты никогда не хочешь отличать личных чувств от того, что требует государственная служба. Так, Люций?

Третий собеседник, лежавший с закрытыми глазами, внезапно открыл их, посмотрел на спрашивавшего с тревожным испугом разбуженного человека, и кивнув утвердительно головою сказал:

— Ты правду говоришь.

Прокуратор чувствует, что он совсем болен. Во рту нет вкуса, в голове боль и жар. Он как-то смутно спал всю эту ночь. В мыслях всё вертятся стихи Горация те, что он читал по утру — и почему-то всё этот стих:

Post mediam noctem visus quum somnia
vera...[2]

И потом опять это лицо бледное, спокойное...

* * *

После стола, он снова один, тяжело облокотился на подушку, и опять машинально развернул свитки... А нездоровье всё больше захватывает его. — и так невыносимо душно в этих залах. Хорошо бы теперь куда-нибудь в горы, в тенистые долины, где ключи бьют холодные, кристальные, где так свежо и хорошо... Говорят, на севере, у скифов, раздольные степи, там, за царством амазонок, выше Тавриды, — в это время только что покрылись цветами, — и эти цветы волнуются как море: и как там свежо, прохладно, ароматно...

А тут сиди в этом иудейском гнезде; нельзя: долг службы. Великое служение Риму...

Глаза смыкаются, смыкаются больным сном, — и опять смутный, полудремотный слух рисует и шум и вопли яростной толпы: но это толпа теперь там, перед Антипой... Чем же кончится суд?.. И как хорошо, что он больше не увидит ни этой толпы, ни голубых глаз...

Но дремота вновь потревожена. Его будят: он широко-гневно открывает глаза.

— Прокуратор, — опять фарисеи с этим человеком.

Пилат ужаснулся:

— Опять!

Но что за перемена? Обвинённый не в прежней изодранной бедной одежде, на Нём праздничная белая мантия... Что же это лукавый царёк — насмеялся над Ним?

Обвинённый не издал перед ним ни звука, ни на один вопрос не ответил ни слова. И вот, Его опять привели сюда. Страшный суд должен же был окончиться. Этот кроткий образ мучил Пилата, — и он взошёл на золотой престол, на великолепную бэму, и стал судить. О, с каким бы наслаждением он разогнал эту толпу... но он должен судить.

Солнце поднялось ещё выше: воздух наполнился духотою, от раскалённых стен, несмотря на весну, пышет жаром, птицы замолкли, одни фонтаны журчат в саду. Голова кружится, и по прежнему молотом бьёт в ней: «Post mediam noctem»...

Фарисеи что-то ему говорят. Их слова должно быть очень убедительны. Но он с трудом всё это понимает. Из хаоса мыслей поднимается и растёт что-то новое, ещё неясное: он чувствует, что за это можно ухватиться, и

этим чем-то можно спасти Его — Того, кто стоит в белом. Но оно всё ускользает от него, он не может схватить и понять его как следует. Он напрягает усилия. Да это ясно: — на Пасху нужен для иудеев пасхальный дар — освобождённый узник. Такой обычай есть — это несомненно. Правда, он может своею властью освободить преступника, но зачем же употреблять власть, когда можно всё подвести под обычай? И он решил, что он именно вот это сейчас скажет.

И вдруг он слышит осторожные шаги раба: это Сципион — да. Сципион идёт к нему, подходит смелее чем всегда, подымается на бэму и наклоняется к его уху. Как он смеет так подходить? Чтонибудь важное он скажет?

— Господин! — говорит Сципион. — Твоя супруга Клавдия Прокула велела идти к тебе сейчас же и предупредить тебя: ты судишь праведника. Она знает, что Он праведник. Она видела сон...

— Сон? — в безотчётном волнении произносит прокуратор.

— Да, сон смутный и тревожный. Она предупреждает тебя. Сон был предутренный —

предутренние сны правдивы...

— Предутренний...

Прокуратору вдруг вспомнились сны Кальпурнии, жены Цезаря, в день его убиения, — это тоже были пророческие сны... «Post mediam noctem visus quum somnia vera»... Так вот почему этот стих так запал в него сегодня! Освободить надо пленника, освободить тотчас же...

* * *

И он предложил народу пасхальный дар...

— Отпусти нам Варавву! — раздались голоса. — Варавву нам, а этого распни, распни!

Воздух полон этим рёвом, — все руки подняты, все лица искривлены ненавистью и гневом...

Отчего-же обвинённый так спокоен? Каким Он полон царским величием! Прокуратор глядит на Него, и невольно вырывается из его уст восклицание:

— Это царь ваш!

Кипение в толпе всё сильнее. Что же, уж не смеётся ли над ними прокуратор? Глаза фарисеев мечут молнии. Угрозы неясным гулом долетают до его слуха. Кровь тяжело под-

нимается и опускается, стуча в виски как молотом.

— Распни! Распни Его!..

Прокуратор с вызывающим видом презрительно оглядывает толпу:

— Царя ли вашего распну! — возглашает он.

— Он не царь наш, — нет у нас царя, кроме цезаря!.. Если ты отпустишь Его — ты враг цезарю! Всякий считающий себя царём — враг его!

Прокуратор вздрогнул. Так ясно нарисовалась перед ним стриженная голова Тиберия. Он сидит там, на Каприи, озлобленный, мрачный, негодующий на весь мир, а главное — на своего ближайшего помощника Сеяна, — того Сеяна, через которого Пилат получил место в Иудее. А если ему пошлют доносы, вот эти рыжебородые фарисеи — что тогда? Правда, в двенадцати таблицах говорится: «не следует слушать безумные крики толпы, когда она требует смерти невинного»... Но ведь хорошо было децемвирам писать законы, а как исполнять их?.. Тиберий неумолим, Тиберий подозрителен, Тиберий беспощаден...

А пёстрая толпа всё ревёт, — а воздух всё душнее и душнее...

* * *

...Спасенья нет, все средства истощены. Все средства, кроме одного: смело и прямо сказать: я освобождаю этого человека!

Но нельзя же терять сан прокуратора. Нельзя терять эти виллы, сады, водомёты... Правда, эта смерть ляжет тяжёлым пятном на него, — но ведь толпа кричит: «кровь Его на нас и на детях наших!..» Он сделал всё что мог...

Негр держит кувшин, — в серебряный таз льётся тонкой кристальной струёю холодная вода, — прокуратор подставил под неё руки, и думает, что она смывает с него кровь. О, не много понадобилось для этого воды — всего какие-нибудь полковша. Толпа затихла — тишина. Слышно, как звенит о серебро влага. И все думают тоже: прокуратор вымыл руки — значит очистил себя от вины...

И прокуратор действительно, казалось, успокоился. Он вытер руки, встал и официальным тоном проговорил:

— Иди на крест!

1886-1888

Весною

I

Александр Васильевич Каденцов сидел в театре и смотрел какую-то комедию. Он должен был её посмотреть, потому что писал рецензии в одной большой газете. С привычным, небрежным полувниманием улавливал он те погрешности и прорехи, которые поместит в завтрашний отчёт, пересыпанный обычною солью его остроумия, несколько фельетонного свойства. Он уже лет пятнадцать подряд писал отчёты о пьесах и русских, и заграничных. Его отлично знали все за кулисами, а в редакциях считали за плохого беллетриста и очень опытного театрального хроникёра. Он пользовался уважением, и ему очень крепко жали в партере руку, может быть и потому ещё, что он был человек состоятельный, нанимал квартиру в хорошей части города, шил платье у лучшего портного и иногда давал очень интересные вечера.

Он следил за всеми деталями той комедии, что пёстрым калейдоскопом проходила перед его глазами. Но одновременно с интригой, по-

степенно развивавшейся на сцене, внутри его, совершенно помимо его воли, развивалась и росла целая драма или, вернее, предчувствие какой-то драмы, которая должна совершиться.

У него дома осталась больная жена. В тот день утром ей стало гораздо лучше: она дней пять или шесть тому назад захворала тифом. Но домашний их доктор, Переваров, очень скоро остановил его. Сегодня, осматривая её, — это было часа в четыре, — он сказал, что одно лёгкое воспалено и велел ставить холодные компрессы, уверяя, что от этого боли прекратятся. Он очень вразумительно рассказал старушке-няне, как надо положить клеёнку, какой величины взять кусок её, и когда переменить мокрые салфетки. Александр Васильевич посмотрел на слабо говорившую и тихо стонавшую жену, и вдруг почувствовал озлобление, только не против неё, а против этой старушки-няни. Он ей для чего-то снова повторил всё сказанное доктором и прибавил: «Да не спутайте по обыкновению». В другое время Анна Ивановна рассердилась бы, но тут она нисколько не обиделась, а напротив

того, очень ласково на него посмотрела и только сказала: «Да уж будьте покойны».

Может быть Александр Васильевич и не пошёл бы в театр, но он сам себя поймал на этой мысли и испугался: «Если я нейду — значит есть опасность, а опасности ведь никакой нет. Ей сегодня лучше. А что она стонет, это очень понятно: она женщина нервная, всегда боль переносила нетерпеливо». Он обрадовался такому выводу и начал всеми силами напускать на себя спокойствие. Он, как всегда зажёл пару лишних свеч перед зеркалом в кабинете и стал одеваться. Вставил пуговики в тугую, отполированную как стальная пластинка грудь рубашки, ввернул большие запонки в рукава, вынул из стола портсигар и бумажник, всё это совершенно как всегда, насколько не изменяя привычек. Потому что не для чего было изменять их. Обдёрнув сюртук, он прошёл в комнату жены и спросил у Анны Ивановны:

— Спит?

Та качнула отрицательно головой. Он подошёл к кровати, нагнулся и поцеловал горячие полуоткрытые губки.

— Я иду в театр, — сказал он, стараясь придать голосу развязность. Ему казалось, что этою развязностью он поддержит бодрость духа жены. — Не нужно ли тебе чего-нибудь, я могу на обратном пути завернуть в Милютины лавки?

Она слегка повернула голову в сторону от него и сделала слабое движение худенькою белою рукой.

— Какое!.. Ты видишь...

— Ну, как хочешь, — быстро проговорил он, опять наклоняясь и осторожно целуя её. На этот раз она ответила на поцелуй, но поздно, когда он уже поднял голову.

— А компрессы ещё не меняли? — для чего-то спросил он.

— Всё, батюшка, всё сделано, — возразила Анна Ивановна. — Вам чай к половине двенадцатого?

«Ведь вот и она спрашивает о пустяках, о чае, — сообразил он. — Ведь если бы была опасность, разве её занял бы такой вздор?» И он в самом деле повеселевшим голосом сказал:

— Да, да, как всегда, приготовьте пожалуй-

ста.

* * *

Пока он шёл по улице, у него на сердце было довольно спокойно, хотя и дома, и извозчики, и фонари, всё было не совсем так как всегда, что-то такое стояло между ним и всем окружающим. Но когда он пришёл в театр, сдал знакомому, кланявшемуся капельдинеру пальто и уселся на своё обычное кресло, он вдруг почувствовал, что ему не по себе. Этот огромный ярко освещённый занавес имел уж совсем необычайный вид. Печать какой-то унылости лежала на всём. Он не мог отдать себе отчёта — казалось ли ему это, или в самом деле подбор публики был таков, только не было обычного оживлённого говора, того смутного шума, что гудит непрерывно в антрактах. Знакомые кланялись ему, жали руку. Никто не знал о болезни жены. Иным он говорил об этом. Они сожалели и успокоительно спрашивали: «Но ведь теперь ей лучше?» Наконец ему надоело говорить всем об одном и том же, и он начал возмущаться театральными порядками, благо подошёл к нему один старый литератор. Это была самая модная те-

ма разговора, и скоро к ним присоединился ещё один знакомый, немец с жидовским лицом, в пенсне и с зелёным перстнем, тоже какой-то литератор. Каденцов старался воодушевиться и на минуту действительно весь отдался интересу разговора. В это время подняли занавес, и пришлось сесть на места.

Но когда ему пришлось только слушать, что говорят со сцены, а самому молчать — тут вдруг со всею ясностью представилось то, что может случиться в ближайшем будущем. Он начал припоминать последние слова доктора, искал, не было ли в них намёка на явную опасность. Отчего же этот доктор, его хороший знакомый, решительно ничем не подготавливал к возможности катастрофы? Он всё время говорил, что пустяки, и что это можно остановить и предотвратить. Но когда он сегодня приложил к её груди трубку, какая-то тень проскользнула по его лицу. в глазах затеплилось какое-то внутреннее беспокойство, и концы бровей как-то странно задвигались. Он уехал довольно поспешно, пожал руку как всегда, ни крепче, ни слабее, и сказал, что будет завтра. Ведь если ей действительно плохо,

он бы непременно заехал сегодня?

Сомнение и боязнь чего-то чередовались с напускным спокойствием мерно, как прилив и отлив. Он всеми силами желал, чтобы всё обошлось хорошо и благополучно, и начинал верить, что так и будет, именно вследствие его сильного желания. Порою, неожиданно застилая сцену, рисовалась перед ним полутёмная спальня с тремя смятыми большими подушками и малиновым огоньком лампы в старинном киоте. И так отчётливо вырисовывалось пред ним её пожелтевшее, обострившееся лицо с прямыми, подрезанными на лбу волосиками, которые она не завивала за пять дней своей болезни. Он видел её закрытые веки, и нижнюю, запёкшуюся губу, неплотно прикасавшуюся к верхней, и кружевную кофточку. И так это живо и образно стояло перед ним, что он в эти минуты не видел актёров, не слышал того, что говорят, а смутно смотрел только на широкую спину какого-то старика, сидевшего перед ним и всё поводившего правым плечом, словно ему резало под мышкой.

Внезапно, совершенно нежданно, он при-

шёл к выводу, что когда наступит антракт, он тотчас же поедет к доктору и попросит его сказать всё откровенно. Это его несколько успокоило, он начал анализировать своё ощущение: «Что бы это могло быть? Предчувствие? Существует ли вообще предчувствие, или это предрассудок?» Он вдруг вспомнил, что собаки воют перед покойником, — это бесспорно, это он сам наблюдал.

Он остановился на слове «покойник». Странное слово, странно звучит, а между тем такое полное понятие оно даёт. «В доме покойник, в доме покойница». Сколько торжественности и таинственности в этих словах! Он вдохнул, опять поймав себя на роковом вопросе.

В это время опустили занавес.

* * *

Однако он не ушёл в антракте. Ему хотелось говорить, говорить много, о чём угодно, только не о болезнях.

И он начал говорить о той неловкости, которую позволил себе, на одном литературном обеде, известный адвокат Устинович: он с жаром доказывал, что Устинович не прав, хотя

утром в тот же день защищал того же Устиновича. Он говорил с таким пафосом, словно дело касалось его очень близко и от исхода спора зависело многое. На него даже стали обращать внимание, и толстая дама, сидевшая с краю, в очень тугом корсете, даже в упор смотрела на него в бинокль, словно в первый раз видела спорившего человека. Каденцов, впрочем, отлично понимал, что и тот, с кем он спорил, и эта дама с подпёртою грудью — самые обыкновенные смертные и только. В то же время он знал, что он выше не только их, но и всей толпы, что шуршала в партере, выше потому, что теперь, в данное время, он не причастен тому будничному интересу, который привлёк в залу столько народа. Они все захвачены сутолокой жизни, а он смотрит поверх этого, и если ещё не видит, то чувствует приближение того, что носит грозное, страшное название: смерть.

А по-видимому здесь, в театре, всё так далеко от мысли об этом ужасном конце. Один господин надел даже почему-то фрак и, щурясь в монокль, стоит у барьера первого ряда. Он думает об ужине, о тех дамах, что сидят с

веерами в бельэтаже, о своих кредиторах, и чёрт знает ещё о чем, но уж никак не об умирающих. В оркестре пискливо поет настроиваемая скрипка. Сверху, порхая зигзагами, медленно падает афиша. И почему же непременно каждый день кто-нибудь да сбросит нечаянно афишу с верхнего яруса? И каждый день те, кто не досмотрели за этим клочком бумаги, с пугливым беспокойством глядят вниз, а те, к кому он попал на колени, почему-то улыбаются и радостно смотрят вверх, довольные такою безобидною случайностью. И ведь каждый день, каждый день всё это одно и то же...

Знакомый Каденцову гвардейский офицер, очень близорукий, но очень милый, пожал ему с чувством руку.

— А вы слышали, бедный Алябьев с ума сошёл, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. — Поехал к старику-отцу в имение и в вагоне сошёл с ума.

— Какая же причина?

— Полагают, недочёт полковых сумм. Жаль, жаль, бедного!

По лицу офицера видно было, что он жале-

ет потому только, что это так принято. Но ему лично, несмотря на близорукость, очень хорошо: и начальство его любит, и сапоги не жмут, и в винт он выигрывает: право, ему не до сожалений.

— Где же теперь Алябьев?

— В сумасшедшем доме. Представьте, на людей кидается. Старик в отчаянии: уж лучше бы умер.

— Нет, отчего же лучше? Тут он может выздороветь, а ведь смерть, это уж совсем...

— А, не говорите: смерть лучше. Все по-рём... Несть ни печали, ни воздыхания...

В груди Каденцова опять так непривычно сжалось. Он стиснул руку поручика и, сразу решив, что теперь пора, пошёл к выходу.

* * *

Капельдинер удивился, когда он подал ему жёлтенький мягкий билетик на грязной верёвочке. Он ловко растопырил пред ним пальто и спросил только:

— На бал изволите торопиться?

Каденцов сунул ему двугривенный, ничего не сказал и вышел на подъезд. Фонари по-прежнему горели. Жандармы, не имея надоб-

ности отгонять извозчиков, тихонько похаживали у подъезда. Лохматый щенок, очевидно заинтересованный чем-то, смиренно сидел против входной двери, боязливо подёргивая ушами. Каденцов пошёл прямо к Переварову.

— Я его попрошу, и он мне всё скажет, — успокаивал он сам себя. — Потому что ведь нельзя же так продолжать.

Ему сегодня целый день очень ясно представлялись какие-то старушки, умирающие по деревням в позднее вечернее время. Ему слышался какой-то далёкий колокольный звон, и так жутко делалось.

— Нет, надо нервы лечить. Ай, до чего я мнителен! — думал он, покачивая головой, и всё ускорял и ускорял шаги.

Но доктора дома не оказалось.

— Они, кажется, к вам поехали! — задумчиво сообразил лакей, отворявший двери.

Каденцов почувствовал словно укол в грудь.

— Как? Разве присылали от меня?

— Никак нет-с. Только будто бы они сказали, что к вам заедут.

Каденцов сбежал с лестницы, вскочил на

первого попавшегося извозчика и поскакал домой.

— Был доктор? — спросил он у швейцара.

— Были, сейчас уехали.

Он, прыгая чрез три ступени, взбежал к себе наверх в смутном предчувствии.

II

Оказалось, что доктора никто не звал. Он сам приехал, посмотрел, спросил об Александре Васильевиче, посмотрел, не подходя даже к кровати, на спящую больную, и уехал. Этот визит ужасно взволновал Каденцова. Ему теперь совершенно ясно, осязательно почувствовалась опасность.

— А по вашему как? — спросил он Анну Ивановну.

— Да всё в том же положении.

Эту фразу он слышал третий день подряд, и ему она стала противна. Анна Ивановна несколько не удивилась тому, что он пришёл из театра в десятом часу, как будто это так и должно было быть. Она его успокоила относительно самовара, сказавши, что сейчас всё будет, и пошла в столовую, что была рядом со спальней. Он закурил сигару и стал тихонько

похаживать по спальней. Сперва он подумал было, что дым беспокоит жену, но потом вспомнил, что именно сигарный дым очищает воздух. Предавшись этой мысли, он даже усиленно начал пускать клубы синего дыма.

В дверях показалась кухарка, толстая и сонная. Она опёрлась одною рукой о косяк и наклонилась жирною грудью вперёд.

— Барин, а барин, вы бы меня с расходом отпустили.

Он замахал ей рукой и вышел в столовую. Он сел на свободный край стола. Скатерть ярко белела под светлую лампой. На другом конце стояли поднос, чайник и один стакан в подстаканнике. Обыкновенно для барыни ставилась синенькая низкая чашка, но теперь её здесь не поставили...

— Курица-то хороша была за обедом? — спросила Прасковья.

Каденцов старался напрячь свои мысли и сообразить о курице.

— Да, должно быть хороша, — ответил он, и начал проверять поданную книжку.

— Уж не знаю что и готовить, — недовольным голосом продолжала Прасковья, склады-

вая на огромном животе лоснившиеся, пропитанные жиром руки, — хоть бы барыня скорее выздоравливала, а то такой разброд, что беда.

— Да когда она выздоровеет? — боязливо спросил он, вполне довольный её уверенностью в том, что всё же можно выздороветь.

Но в ответ Прасковья не только не поддержала этой надежды, но даже совсем разрушила её, глубоко вздохнув и вытерев грязным передником внезапно навернувшиеся слёзы.

— Это что же «рыся — тридцать копеек?» — спросил он, тыкая пальцем в книжку.

— Рыс, — объяснила она.

— Ага, рис, — догадался он, и отдал ей книжку.

— Как же на завтра к столу?

— А вот вы к Анне Ивановне обратитесь, она вам всё закажет. Я не умею... Или вот что: сделайте на второе осетрины отварной с хреном.

— А суп какой?

— Ах, нет, пожалуйста, я сказал, что к Анне Ивановне, ну, и ступайте.

— Мыло прачка просит выдать.

Он встал со стула.

— Да отстаньте вы!

* * *

Он пошёл через тёмную залу. Во всей квартире была такая давящая атмосфера. Лампы горели тускло, неровно. В его кабинете, на зелёном триповом диване, была уже постлана постель: горничная очевидно не думала, что он возвратится так рано. Со времени болезни жены, он, по настоянию доктора, перешёл сюда. В кабинете было холодно. Он сел к столу и начал перебирать бумаги. Ему казалось, что он спит, что его душит тяжёлый, тяжёлый кошмар. Ведь не может же быть, чтоб это была действительность?

Он был женат лет пять. Жил он с женой хорошо, но решительно не замечал этого. Ему так естественным казалось, чтобы всё было хорошо, он другого ничего и не представлял, да и не думал ни о чём другом. Когда он выезжал куда с женой, все находили, что она очень миленькая. Она хорошо одевалась, и он любил в ней именно этот вкус; он с полным сознанием собственника ощущал чувство довольства, когда на вечерах подмечал как мо-

лодые люди смотрят на неё. Он отлично знал, что именно такие женщины и могут нравиться мужчинам, с её полненькими маленькими ручками, мягкими бархатными глазками под густыми ресницами, с нежною беленькою кожей и тихим, слабо звеневшим голоском. Его иногда бесила её добродушная, ясная улыбка, её довольство, спокойствие. Никогда у неё не было никаких порывов, проказ, раскатистого смеха. Но и капризов не было. Когда он говорил ей что-нибудь неприятное, она точно и обижалась, уходила к себе в комнату и принималась за работу. Но едва он подходил к ней, опять то же спокойное сияние разливалось от неё, и также ровно и спокойно говорила она.

Ему очень хорошо было: кабинет такой уютный, и бюсты и книги, и качалки, и восточные диваны. Жена заниматься никогда не мешала. Её и не слышно никогда. После того как она родила мёртвую девочку, она стала ещё молчаливее. Но он не жаловался, не тяготился этим, хотя не любил серьёзничанья. Мысль об её смерти никогда ему и в голову не приходила.

По паркету залы застучали когти, и большой сеттер вбежал махая хвостом и внося с собою свежий воздух с улицы. Он эти дни тоже не был боек как всегда, и теперь оживился только почувствовав, что хозяин дома.

Анна Ивановна догадалась подать чай в кабинет.

— Александр Васильевич, — сказала она. — я думаю хорошо бы написать ихней маменьке про болезнь. Личико осунулось у неё к вечеру. Я вам не докладывала: она сегодня вставала...

— Как вставала?

— Утром. Я вхожу, а она у туалета стоит. Я так и обмерла. В рубашке, кофточке, босоногая. Потом зашаталась, зашаталась: еле я поддержать успела. Довела, опять уложила.

— Да... ну что ж, я напишу.

— Да хорошо бы было за Венигом послать.

Анна Ивановна подсказала ему ту мысль, что вот уже несколько часов не давала ему покоя. Вениг был старый профессор, лечивший ещё его отца, практик замечательный, несмотря на свои годы, целый день катавшийся в коляске на разномастных лошадях

по городу. К Каденцову он ездил охотно, потому что ему приятно было сорок лет подряд встречать в списке пациентов одну и ту же фамилию. Но Каденцов тревожил его только в крайних случаях, полагая, что старику трудно подниматься в четвёртый этаж.

— Хорошо, — сказал он. — Я напишу, а вы велите снести сейчас же.

* * *

В столовой часы били в эту ночь как-то особенно неприятно и заунывно. Их бой разносился по всей квартире и долго не замирал: словно звуки скоплялись в углах комнат и дрожали там каким-то неопределённым не то шорохом, не то гулом. Порой весь дом будто вздрагивал, окна звенели, паркет трещал. Ему грезилось, что он через залу и столовую ясно слышит дыхание жены. Но вероятно, это его грудь дышала. Все двери были отворены настежь. Он раза два тихонько входил в спальню. Тени от лампадки ходили по потолку и одеялу. Няня лежала на кушетке и быстро спускала ноги при его входе. Он просыпался чрез каждые четверть часа.

В восемь часов ему подали записку.

— От Венига? — спросил он.

— Нет-с, это от Переварова. Вениг сказал, что будут после двух.

Он разорвал сбоку конверт, и начал читать.

«Ты знаешь, Александр Васильевич, — писал Переваров, — как я всегда был привязан к тебе и твоему семейству. То чувство симпатии и дружбы, что я чувствую к тебе — заставляет меня просить, чтобы ты не стеснясь позвал другого врача, конечно, лучше всего Венига. Я не верю своим познаниям, и могу ошибаться. Вера Алексеевна слишком изнурена, и бороться против воспаления трудно. Я боюсь нареканий с твоей стороны, и потому повторяю просьбу: пригласи Венига. Крепко жму твою руку».

Каденцов сразу не понял письма.

— Что такое? Почему же он не сказал этого вчера? Уж не ошибся ли он в диагнозе? Зачем же было тянуть всю ночь? Наконец, отчего самому не приехать, зачем это письмо?

Он быстро стал одеваться. Анна Ивановна высунулась из-за двери.

— Вас просит барыня.

«Умирает!» — мелькнуло у него в голове; и, хлопая туфлями и отстраняя собаку, он пошёл через залу и столовую, которую подметала прачка, в душную, ещё не проветренную спальню.

Она стала ещё белее, нос ещё больше заострился: да ещё бы — шесть дней она ничего не ела. Когда он вошёл, она подняла ресницы.

— Ты послал за Венигом? — прерывающимся шёпотом проговорила она. — Так не надо. Ну что старика тревожить. Мне... мне не так больно сегодня.

— Да я уж послал, он приедет. Я хочу успокоиться насчёт твоей болезни. Ведь нельзя же так...

— Мне лучше, — повторила она.

И глаза её опять закрылись.

Неурядица в этот день чувствовалась ещё сильнее. Обыкновенно господа вставали к десяти, даже к одиннадцати часам, а теперь поднялись в девятом. Самовар два раза приносили, и никто не пил чая. На диване в гостиной лежало полотенце для стирания пыли. Тем не менее, Каденцов сел за обычную работу.

К крайнему удивлению, он видел, что писать может, что мысли и связываются и выливаются на бумагу свободно. Но в то же время он чувствовал что нервы его натягиваются всё больше и больше, что наконец напряжение будет уже такое, что он его не вынесет. Весенний воздух, вливавшийся чрез открытую форточку, раздражал его наркотическою, острою, опьяняющею струёй. Перо быстро двигалось по бумаге, и написанные обычным, связным почерком слова крутились также ровно и прямо, точно в доме и не было большой.

* * *

Вениг приехал только в три часа. Это был гладенький небольшого роста старичок, с военною осанкой, каким-то грустным взглядом и в форменной, по старой памяти, фуражке. Вошёл он с тою спокойною неторопливостью, с какою он сорок лет подряд входил в квартиры умирающих. Он оглянул гостиную, словно хотел узнать всё ли на месте, не изменилось ли что со времени его последнего посещения, и подал ещё не согревшуюся руку Каденцову.

— Что же такое? Вы писали, что воспали-

ние?

— Да, я побеспокоил вас, потому что Переваров ещё молодой врач...

— Он толковый, — словно про себя вставил Вениг.

— Всё-таки вы посмотрите.

Он в коротких словах начал передавать историю, как она заболела.

— Я в первый же день понял, что это серьёзно. Она утром проснулась, говорит, что не встанет, и забылась. Потом, в четыре часа, спрашивает — сколько времени? Я сказал. Она даже испугалась: «Как так поздно! А обед-то как же, а завтрак?» Встала сейчас же, накинула капот, перемоглась, вышла в столовую. И всего ведь это было в прошлую субботу. А теперь она и не говорит почти.

Вениг сказал: «гм», и, потирая руки, пошёл в спальню. Каденцов вошёл вслед за ним: ему хотелось знать что скажет жена, и узнает ли сразу доктора. Она узнала, но когда он начал снимать компрессы, она так застонала, что Каденцов не выдержал и ушёл.

В спальне слышались смутный шум и говор, и слабые стоны. Сердце его колотило уси-

ленную дробь. Он быстро шагал по зале. Тело требовало движения. Все мышцы сокращались. Теперь ведь там решалось всё, решалась вся его дальнейшая жизнь. И он любил в этот миг свою жену так, как никогда не любил прежде. И как долги, как долги казались эти минуты пока там был доктор!

Наконец, он показался в столовой. На светлом фоне окна мелькнул его круглый силуэт и двинулся к нему тою же неторопливою походкой. Каденцов кинулся к нему навстречу. Он хотел угадать по его глазам результат осмотра. Но серые глазки были так же неопределённые, так же смотрели куда-то в пространство, а лицо было так же спокойно и серьёзно. Подойдя, он грустно встряхнул головой и сказал:

— Да, — ну!

Он развёл руками и слегка приподнял плечи. Каденцов почувствовал наконец то что-то, которое давно собиралось охватить его. Это «что-то» теперь овладело им.

— То есть, как же? — неловко ворочая языком, полусшёпотом спросил он.

— Надежды нет.

Каденцов видел перламутровую пуговку его рубашки, видел брелки на его толстой цепочке, видел пробритый подбородок, но очень смутно сознавал слова.

Вениг положил ему на плечо руку.

— Истощён организм, — сказал он, — воспаления она не перенесёт.

— Может быть... может быть Переваров сделал ошибку?

— Никакой ошибки. Всё прекрасно. Он, как молодой врач, ещё хотел бороться... Это лишнее...

— Что же делать? Делать-то надо что теперь?

— Пошлите за священником. Пусть она причастится. Это успокоит её. А потом, после причастия, вы, пожалуй, дадите ей капельки что я пропишу.

Он пошёл в знакомый кабинет, сел свободно по-докторски у стола и начал писать на оторванном лоскутке.

— Да, молода она, — задумчиво, словно с укоризной, сказал он.

— Двадцать семь лет, — машинально ответил Каденцов.

— Да, — простуда должно быть. Теперь очень много от воспаления лёгких умирают. Признак весны.

«Что это, утешает он меня этим, что ли?» — подумал Каденцов, и даже собрался улыбнуться над наивностью утешения. Только уж улыбка у него совсем не вышла.

У Венига была привычка, когда он пропишет рецепт, рассказать какой-нибудь анекдот. Каденцов с ужасом ждал, что наступила эта минута. Но профессор, напротив того, совершенно молча сидел в креслах, словно не решался ни уходить, ни разговаривать. Каденцов сам первый поднялся.

— А вы заедете ещё? — спросил он.

— Нет, надобности не будет. Вы сами заверните ко мне, вам ведь близко. Завтра так...

Он задумался.

— Так около десяти...

— А когда же надо ждать... конца? — не смело спросил Каденцов. Он хотел спросить «смерти», но не смел произнести это слово.

Профессор взглянул на него, как учитель на школьника, задающего глупый вопрос.

— Скоро, — сурово ответил он, и тоже

встал с кресла. — Завтра до двенадцати я дома. Заезжайте, я вам выдам бланк.

— Какой?

— Бланк. Полиция у вас потребует свидетельство...

Ноющее больное чувство опять охватило его. Ведь она ещё жива, она ещё дышит там, на широкой кровати, а он говорит о каких-то полицейских бланках!

Вениг крепко пожал ему руку и сказал:

— Если нервы очень расходятся, выпейте стакан мадеры. Тут два убежища: религия и философия. Вооружитесь ими, если есть силы.

И получив за визит, он с треском отъехал от подъезда на своей разномастной паре.

III

С этой минуты, с момента отъезда профессора, наступил для него новый период возбуждения. Когда дверь за Венигом затворилась и он ушёл, унося с собою и молодую жизнь, и всякую надежду на выздоровление, Каденцов опустился на диван в гостиной и почувствовал, как глаза его наливаются слезами, как спазм сдавил ему горло. Он чувствовал, что оторвана половина его души, что со-

вершается то, что совсем не должно было совершиться, и что всё закончится тем полицейским листком, который, выдаст ему завтра доктор.

И как только он сознал, что смерть неизбежна, с этой минуты у него явилось страстное желание, чтоб она пришла как можно скорее, чтобы больная не мучилась. Он не знал, что такое говорила ей заплаканная няня о священниках, но только эта няня пришла к нему и сказала, что барыня очень хотят причаститься. Он пошёл напротив в домовую церковь, и священник, высокий молодой брюнет с выпуклым лбом, пришёл тотчас же. Она причастилась. Когда священник ушёл, она повернула к нему голову и шепнула:

— Благодарю!

Тут уже он не выдержал. Слезы крупными каплями покатались по щекам. За что она благодарит? За то что пришёл священник, или за то (неужели за то!) прожитое вместе время, за те пять лет что она провела с ним под одною крышей? Но что же он дал ей в эти пять лет? Не ему ли её благодарить? Они сидели вместе у одного огня, ели из одного блю-

да, смеялись одним смехом, горевали одним горем. Разве это так дорого было? Может быть оно дорого только тем, что прошло, а тогда оно вовсе не ценилось. Он привёл её в дом молоденькою, чистою девушкой, она пошла за ним, внесла в его обстановку ту милую женскую прелесть, которую всё было так согрето вокруг. А теперь она, такая же маленькая, лежит умирая на их кровати. Её мать, сёстры, далеко за Москвой. Он отнял её от тех близких к ней, с которыми она жила, и она здесь одна с ним, на севере, умирает в душевной комнате. И она же лепечет: «благодарю», и хочет протянуть ему руку, и не может.

Он вырвался на воздух и, пошатываясь, отправился на телеграф. Теперь уже всё вертелось в его глазах. Извозчики ехали по мостовой беззвучно. Пешеходы как тени скользили мимо, и сам он не шёл, а словно нёсся по воздуху. Он вдруг понял, что внутри его есть нечто такое, чего он не мог предполагать прежде. Душа его встрепенулась, словно очистилась от обычной будничной оболочки, и он перестал чувствовать своё тело. Точно не он шёл по улице, а плыл в известном направ-

лении его дух, тело же, от которого он не мог освободиться, механически передвигало ноги и поспевало за ним. Ему казалось, что он видит это тело со стороны, что он видит себя откуда-то сбоку, видит как он, заложа руки в карманы, быстро идёт, минуя прохожих, куда-то, судя по походке, по очень спешному делу. Прикосновение не производило прежнего ощущения: он щипал свою руку и не чувствовал боли. Одна только и была мысль в его голове: «Ах, скорее, скорее бы это всё кончилось!»

* * *

С тех пор как она сказала слово «благодарю», губы её не открывались. Ей дали каплею, и стоны прекратились. Лицо приняло строгое выражение. Она тяжело, однообразно дышала. Воздух шумно выходил из её груди. Грудь вздымалась и падала. Она лежала недвижно, навзничь, скрестив на груди руки, бессознательно приняв ту позу, в которой она должна лечь навсегда и разрушиться. На вопросы она не отвечала, она не слышала, что делается вокруг, её мозг занят был своею собственною работой, видел свои картины, никому невиди-

мые. Были ли то последние обрывки земных воспоминаний и впечатлений, наслоившихся там за много лет, или это, быть может, было уже преддверие чего-то нового, ряд ощущений которых мы и представить себе не можем, но лицо её меняло своё выражение, и ни разу боль и страдание не отразились на нём. Она погружалась тихо, незаметно, в покой вечного небытия или вечной жизни, и это новое охватывало её тихо, ласково, со всех сторон, точно манило, звало к себе. Земного в ней осталось только это дыхание; всё остальное было уже ряд ощущений высшего порядка.

А земное, покорное вечным и неизменным законам, продолжало своё дело разрушения. Какие-то таинственные процессы совершались в её груди, и эти-то процессы и уничтожали молодую жизнь. Каденцов сидел в двух шагах от кровати, в креслах, и старался уловить — да где же наконец гнездо этого разрушения, и почему же оно словно остановилось? Вот уже более шести часов прошло с того времени как она сказала «благодарю» и закрыла глаза, а дышит она всё также, и ухуд-

шения не заметно. Весь дом притих, ни звука. Сознаётся великое, неизбежное. Все притихли, чувствуя что нет выше этого мига. Но тишина эта не нужна для неё: можно было бы и петь, и веселиться вокруг, она не услышит, её это не потревожит: то чем она сознавала, этого уже нет тут.

Каденцов сидел возле неё, и бесформенные образы и мысли неслись перед ним. Его ужасала та простота, с которою она умирала. Ему припомнился отвратительный образ смерти, что сложился у всех народов. А тут как тихо, мирно, спокойно. Тихонько в уголке всхлипывает нянька, и только. И вдруг представилась ему та смерть что изображается на сцене. Он с ужасом вскочил с места. Ему представилось, как танцовщица умирает под звуки оркестра. Он вспомнил те дикие па, которые должны напоминать агонию, он вспомнил те ломанья рук и схватывания за грудь, которые должны были изображать предсмертные муки. И он опять ужаснулся, и быстро заходил по комнате.

«Ведь это святотатство! — размышлял он. — Ведь смерть — таинство, священнодей-

ствие: как же можно профанировать его? Как же можно заставить какую-нибудь распутную женщину плясать в трико, с обнажёнными ногами, и думать, что она изображает это таинство, да ещё аплодировать ей, подносить цветы и подарки? Что за извращение, что за гнусность!»

Он остановился у самого изголовья. Ему показалось, что опущенные ресницы слегка дрогнули, но не раскрылись. По одеялу, как и прежде, ходили неровные тени от киота. Уже ли это лежит она, его Вера?

* * *

В три часа ночи он получил ответную телеграмму от матери жены: «Выезжаю. Телеграфируйте — Москва до востребования.» И он почувствовал скорбь старухи, этой чудесной старухи, которая, прощаясь последний раз с Верой, со слезами говорила, что они больше не увидятся, что ей, старой, уже недолго жить осталось.

Он попробовал молиться, но он и не умел, и разучился этому. В детстве, когда он ходил со своею матерью в церковь, он молился с такою чистою, с такою искреннею верой. Но те-

перь так далеко это время! Он в слезах смотрел на лики старого письма, что безмятежно глядели на него из киота, но молиться не мог.

* * *

В седьмом часу утра он забылся на диване неопределённым, беспокойным сном. Его разбудил какой-то толчок. Внутри его как будто кто-то вскрикнул, он слышал этот крик и понял его так: вставай, беги к ней, она умерла.

Но она дышала, только она была желтее чем вчера. Дыханье было такое же, но лицо ещё спокойнее.

И вдруг, совершенно неожиданно, Каденцов почувствовал, что тот же покой разливается и в нём. Сжатие сердца, что целые сутки мучило его, прекратилось. Он пошёл твёрдою поступью к себе в кабинет, лёг не раздеваясь на приготовленную постель, и заснул мгновенно и глубоко.

Он не запомнит такого глубокого сна. Сновидений тут не было. Это было тоже какое-то небытие. Он спал сладко, он наслаждался сном, покоем, сном каким-то неземным, поразительно странным.

В половине десятого он почувствовал что

его трясут за плечо. Он открыл глаза. Над ним стояла заплаканная няня.

— Скончалась, — сказала она.

Он не поверил. «Как! когда он спал? Да почему же именно в это время?»

Она лежала тихая, тёплая, по-прежнему скрестив руки. Дыханья не было.

— Отчего же, отчего же вы меня не разбудили? Ведь вы же видели...

— Дышала, десять минут назад дышала, и вдруг сразу!

Он тупо посмотрел на кровать. «Значит, всё кончилось. И как просто, как ужасно просто...»

Он наклонился и прижался к холодеющему лбу губами. Голова легко лежала на подушке, словно живая, она ещё не тонула с грузною тяжестью мёртвого тела. Худенькие руки с отросшими за эти дни ногтями казались совсем детскими. Анна Ивановна, роняя на одеяло слёзы, стала снимать обручальное кольцо и вынимать из ушей крохотные серьги, в которых она так и скончалась.

— Спрячьте, — сказала она, подавая их ему.

Он пошёл к себе, и запер вещи в стол. «Что же теперь делать? — соображал он. — Она умерла. Надо хоронить. Как же это так? Я никогда ведь не хоронил никого. Как это делается, с чего надо начать?»

Чувство острой боли и тоски, что давило его, прошло. Он как-то механически сознавал, что нужны священник, гроб, могила, объявление в газетах. Но как это он всё сразу сделает, он не понимал. Нужна ещё телеграмма в Москву тёще, потом надо встретить её на вокзале. Она будет плакать. Приедет с какой-нибудь из дочерей, та тоже будет умирать. Все знакомые будут так сожалеть. Будет суетня ужасная. А теперь так тихо. Хотя бы помог кто!

Он с изумлением наблюдал это неестественное спокойствие, явившееся вместо ожидаемого отчаяния. Он сам его пугался, сам спрашивал себя, отчего же это так? А нервы были спокойны, и говорили ему: «Да, вот ты ожидал, что мы Бог вещь что с тобой сделаем, а мы спим, вовсе и не желаем тебя мучить». Он хотел заплакать, что ему вчера удавалось, и не мог. Тогда он решил ехать. Послал за ка-

ретой и начал одеваться.

— Там гробовщики вас спрашивают, — сказала прачка.

Он поморщился.

— Нет, нет, это всё Анна Ивановна договорится. Да привяжите собаку на цепь, хоть у меня здесь, в кабинете.

Анна Ивановна перевалкой, с засученными рукавами, пришла на зов.

— На стол не смейте класть, — сказал он.

— А как же? — удивилась она.

— Пусть лежит на кровати, а потом принесут катафалк. В доме всем распоряжайтесь, а я поеду.

* * *

Он поехал и очень толково распорядился. Но как, почему и зачем он всё делал, в этом он не мог отдать себе отчёта. Спал ли он последующие две ночи до выноса, или нет, он не знает. Ему было только спокойно. Он хорошо помнит, как его встретил Вениг, пережевывая что-то и очевидно встав из-за завтрака. Когда он сказал ему, что всё кончено, он утвердительно кивнул головой, опять-таки как учитель кивает ученику верно разрешив-

шему задачу.

— Я вам сказал, что около десяти, — подтвердил он, окончательно проглотив то, что было во рту, и пошёл в кабинет писать заявление.

Каденцов увидел Магдалину с черепом, лет уже двадцать висевшую в приёмной Венига. Он много раз рассматривал её, и вместе с женой, когда он приходил с нею в приёмные дни. Вера, которая сама недурно рисовала акварелью, находила что пальцы рук написаны не хорошо. Ему так ясно представился тот вечер когда они сидели вдвоём у пасмурной лампы и просматривали английские иллюстрации. Это было всего полгода назад, осенью: она приходила советоваться с Венигом о мигренях. Наконец профессор вынес листочек и научил сперва показать его в типографии для объявления, а затем сдать куда надо. Проводив до дверей, он заметил про покойницу:

— Да, она была такая слабенькая.

Потом он помнит, как на кладбище конторщик долго с ним не говорил, а всё плевал на пальцы и считал груды засаленных ассиг-

наций, принесённых каким-то мещанином. Окончив счёт, он поднял очки и очень весело поглядел на него.

— Это можно-с, — ответил он, когда Каденцов изложил причину посещения. — Не угодно ли вам с нашим зрителем местечко присмотреть, которое вам по вкусу. Какое желаете, то и запишем, на выбор-с.

«Отчего он так весел, — думалось ему, когда он шагал следом за зрителем по мосткам кругом церкви, — Впрочем, поневоле будешь весел, всю жизнь только и занимаясь покойниками. Ведь говорят же, что гробовщики да могильщики самые весёлые люди».

Отец протопоп, с которым он договаривался об отпевании, очень соболезновал о его потере, интересовался, сколько лет покойной, и чем она была больна. Прощаясь, он долго жал руку и сказал: «Очень приятно».

Затем, ему памятливы разные мелочи. Он помнит на блюде холодную осетрину, что он за два дня до этого заказывал кухарке; осетрину два дня подавали на стол, — он до неё не дотрагивался. Он помнит ароматический запах ладана на панихидах, и запах потушен-

ных восковых свеч, и молодое лицо того самого священника, что приходил причащать её. Его приятно поразило отсутствие чёрных риз и весёлое пение «Христос Воскресе», которым начиналась каждая служба. Он решил, что ему было бы грустнее, если б она умерла осенью.

На ночь он отсылал читальщика, находя, что его протяжное чтение только раздражает. Он подолгу смотрел на жену. Лицо её приняло выражение спокойной радости: Анна Ивановна подвила чёлку на лбу, и она, закрутившись, придала всему лицу обычную живость, — так по крайней мере ему казалось. Сквозь кисею, прикрывавшую лицо сквозили чёрные пушистые ресницы и брови словно приклеенные к восковому лбу, — это он тоже помнит.

* * *

Но больше всего памятен ему приезд тёщи. Как он и думал, она приехала с дочерью. Он поехал на вокзал встретить их. Утро было весеннее, ликующее, ясное. Когда они вышли из вагона, он по распухшим лицам и красным глазам понял, что они всю ночь не спали, и

что совершенно лишнее спрашивать их о чём бы то ни было. И всё-таки он спросил: «Ну, как вы себя чувствуете?» В ответ на это, старуха упала к нему на грудь и стала плакать, вынимая из лакированного мешка носовой платок. У дочери глаза были сухи, она как-то пугливо посматривала вокруг и судорожно перебирала ручку ремней, в которых был завёрнут плед. Он дал посыльному адрес, велел получить вещи и доставить на место, а сам повёл их в карету. Когда они сели и покатались по гладким торцам, старуха схватила его за руки и проговорила:

— Ну, как же, как же всё это случилось?

Он начал рассказывать что-то бессвязное, длинное, барышня тоже заплакала и стала очень похожа на покойную сестру, только черты лица у неё были угловатее.

На панихиде они стояли всё время на коленях и молились. Барышня, не обращая внимания на съехавшихся, стояла простоволосою и растрёпанною, — видно что ей было не до туалета. Они обе ни разу не оглянулись. И всё-таки после панихиды они сообразили, что надо купить себе крепу на шляпы и заказать

чёрные платья. Они даже узнали у Анны Ивановны адрес портнихи, что шила на Веру.

Всё остальное в представлении Каденцова сливается в какой-то тусклый туман. Он не может припомнить что он делал, о чём он думал. Он шагал мимо завешанных простынями зеркал и всё старался забирать ртом как можно больше воздуха.

В момент выноса, сердце его ускоренно колотилось, пред глазами шли зелёные круги. Гроб тихо сползал по заворотам лестницы при пении и плаче. Из дверей высовывались соседи и крестились; швейцар суетился у подъезда. Потом гроб поставили на дроги, а он пошёл назад за пальто и шляпой, потому что вышел на улицу в одном сюртуке. В зале с катафалка снимали чёрное сукно; высокие подсвечники взваливал себе на плечи какой-то рябой причетник. В квартире, кроме кухарки, никого не было.

И тут он понял, что он один. Он поднял глаза на маленький образ, висевший высоко в углу, и сухие, отрывистые рыдания вырвались у него. Он сам испугался их дикости.

Однако, надо было идти. Он посмотрел в

окно, — процессия шла по зелёному ельнику через площадь; гроб ярко сверкал на весеннем солнце, а сзади, за густою толпою знакомых, медленно ползли карета за каретой.

Он вытер наскоро глаза, надел шляпу и пальто, спустился с лестницы и торопливо начал догонять процессию: ему по всем правилам приличия следовало идти первому за гробом. Он так и сделал.

1887

Из летнего альбома

I. Странная женщина

По бледно-голубому северному небу плыли крутые белые облака. Синее море вздымалось грядками и шумно расплёскивалось по отлогому берегу. На скамейке, в нескольких шагах от черты прибоя, возле купальной будки, сидела молодая дама в светленьком кретоновом платье, с зонтиком, подбитым яркою материею, и с прелестною девочкою лет двух, что возилась тут же на тёплом песке.

Дама эта ничего не делала: она не читала, не работала, — даже за девочкой как-то мало смотрела, — мысли её были заняты чем-то совсем другим. Она глядела, слегка прищурясь, на тот далёкий горизонт, где ползли под парусами суда, сверкая на солнце яркими точками; её глаза имели какое-то неопределённое выражение: в них не было сосредоточия, — это бывает так всегда, когда человек смотрит вдаль. Порою она поворачивала голову в сторону, и вглядывалась в однообразную линию

купальных будочек и телеграфных столбов, прижатых к воде сплошною гущею побережных парков. Плечи её тогда подёргивались, она нетерпеливо упиралась ногами в песок, словно хотела встать и уйти. Но она всё-таки не встала, не ушла, она осталась — и дождалась кого хотела.

Она его издали заметила. Это был высокий плотный господин, с бритым лицом, докрасна опалённым июльским солнцем. На нём было широкое серое летнее платье и соломенная шляпа. Он торопливою походкою подошёл к ней и как-то неуверенно протянул руку. Она не глядя подала свою и досадливо смотрела в сторону, когда он поднёс её к губам.

— Сменили гнев на милость, — нерешительно произнёс он, опускаясь возле неё на скамью, и посылая девочке поцелуй рукою. — Что это вам вздумалось писать?

— Захотела — и написала, — возразила она. — Если вы пришли против желания — можете уйти.

— Нисколько. Я обрадовался, получив вашу записку. Я вас вижу только издали, мельком. Не знаю, чему приписать ваше желание

меня видеть.

— Поверьте, что желания (она сделала удавление на слово «желание») у меня нет. Мне надо с вами поговорить.

Он пожал плечами, и склонив голову, приготовился слушать.

Она не решалась начать. Раскрытые губы её слегка дрожали, брови сдвинулись, грудь дышала тяжело и прерывисто.

— Нам надо окончательно объясниться, — заговорила она. — Тянуть такие отношения невозможно. Сегодня муж уехал в город, я как-то стала спокойнее, и решила, что всё равно, лучше кончить теперь — потом хуже будет.

— Я не понимаю, о чём вы хотите говорить... Что за натянутый тон?..

— Другого тона быть не может; я притворяться не умею, не стану, — не хочу наконец. Как я думаю, как чувствую, так и говорю. Не требуйте от меня никаких определённых рамок, я действую быть может нетактично, но искренно... Прошло время, старого не воротишь, о старом вспоминать нечего...

Он снял шляпу и отёр себе лоб:

— Ну, да, ты меня разлюбила, — сказал он. — Я это чувствую и знаю. Ты теперь ко мне относишься безразлично. Тебе теперь всё равно, что я, что эта скамейка.

— Ну, не совсем так, — резко оборвала она, — я вас видеть не могу. Вы мне противны, понимаете: противны, противны!

Она с таким омерзением посмотрела на него, что он вспыхнул до ушей.

— Да что же я такого сделал? Чем я виноват?

— Вы тем виноваты, что вы — вы! Что вы не человек, не мужчина, вы — тряпка, бесхарактерность...

— Успокойся ты, ради Бога... Тебе это вредно в твоём положении.

— А что моё положение! Какое вам до него дело!.. Вам ни до чего никогда дела нет...

Быть может, другой на его месте встал бы и ушёл. Но он не мог этого сделать. Он знал, что она нездорова, что это, быть может, всё вспышки, болезнь, нервы. Он не имел права отойти от неё; он стиснул кулаки, и заложил ногу на ногу.

— Ты меня позвала только для того, чтобы

говорить такие вещи?

— А! Вам это не нравится? Слушайте, вам это полезно: вам такого зеркала ещё никто не показывал. Любуйтесь на себя.

— Надолго муж уехал? — спросил он, чтобы перевести разговор на другую тему.

Она не отвечала. Грудь её дышала ещё короче, на лице проступили пятна. Он ей был невыразимо противен. Мясистое ухо и загорелая красная шея, нажатая белым воротником, возбуждали в ней отвращение. Он чертил палочкою по песку, и был решительно в недоумении: чего она хочет, чего ей от него нужно?

— Я вас не обвиняю, — заговорила она. — Виновата я, одна я виновата кругом. Я забыла долг, забыла мужа, детей...

— Да ведь у вас одна только девочка, — поправил он.

— Это всё равно: один ли, десять, — это всё равно...

— А мужа ведь вы не любите.

— Во всяком случае, больше чем вас. Вы не понимаете, — о, вы не понимаете, — говорила она, ломая руки, — вы отказываетесь понять,

как женщина, полгода назад, могла забыть всё, и долг, и стыд, и самоуважение, броситься на шею мужчины, а через шесть месяцев возненавидеть его! Вы это не понимаете, да!

— Тише! — остановил он, — девочка слушает, смотрит.

— Пусть смотрит!

Девочка уставилась большими чёрными, как у матери, глазами и переводила взгляд то на одного, то на другого.

— Пусть смотрит, — повторила мать, но начала говорить понизив голос. — Как же вы, мужчины, считаете себя во сто тысяч умнее нас, женщин, вы хвастаетесь наблюдательностью, пишете романы...

— Разве я пишу? — попробовал было перебить он.

— А, я не про вас говорю, вы разве способны на что-нибудь! Ну, а как же вы, при вашем уме и таланте, не можете догадаться, что во мне происходит? Где же ваша опытность, о которой вы трубите на перекрёстках? Эх, вы — мужчины!.. Никогда-то вы, никогда вы не в состоянии самой простой вещи понять. Что вам каждый подросток-девчонка объяс-

нит, до того вы во веки веков не додумаетесь.

Она говорила это с тою уверенностью, которая никогда не покидает женщину, когда дело коснётся вопроса чувств. Она была убеждена, что это так, что это иначе и быть не может. Её было не переуверить в этом.

А он буквально ничего не понимал. Он машинально смотрел на белые облака и сравнивал ту женщину, которую он любил так за полгода перед тем, и которая его любила, — с тою, которая сидела тут, бок о бок с ним на скамейке. Ах, какое то время было! Да нет, — то другая женщина была. То было свежее, молодое существо, с душистою косою, разметавшеюся по подушке, и с таким огнём в глубоких, бездонных глазках! Он горел там, этот огонёк, вспыхивал, искрился, погасал, опять загорался; эти беленькие руки сжимали его крепко-крепко, эти губки говорили ему: «Держать я буду тебя покуда сил хватит, — а если уйдёшь ты от меня, так не потому, что разлюблю, а потому, что объятья мои будут для тебя не достаточно сильны!..» И сколько часов, сколько дивных часов пронеслось над ними... А теперь? Как подурнела она! Углы

рта опустились; глаза по-прежнему горят, но каким-то недобрым огнём. Платья все расставлены, фигура пропала, располнела, а щёки спали... И сколько злости, сколько ненависти в этом лице! Ну, хотя бы каплю, хотя бы только каплю прежнего чувства! Нет, — словно всё забыто, стёрто из воспоминаний!

— Да, да, — заговорила она, — вот чего нет, и никогда не будет в мужчине, — это чуткости. Вы по намёку не уловите никогда того, что надо сделать... а вы ещё лучше, гораздо лучше многих.

— Спасибо за похвалу, — пробормотал он.

— Скажите, — начала она, обдавая его резким, чёрствым взглядом, и вся повернувшись к нему, — скажите: зачем вы сюда приехали? Ведь я вас просила, я умоляла не ездить. Зачем вы приехали?

— Я счёл бесчестным поступить иначе, — я не мог оставить вас одну.

— Я бы вам писала.

— Мне мало этого.

— Я не одна здесь: муж со мною.

Его передёрнуло, но он ничего не сказал.

— А вы, какую вы пользу можете мне при-

нести? Ваш вид, голос, фигура, походка — всё мне действует на нервы. Вы каждый день стараетесь мне попасться на глаза... Да по какому праву?

— Я люблю вас! — чуть не крикнул он.

— Хороша любовь! Если вы любите для вас моё слово должно было быть законом. Я сказала, что не хочу, чтобы на лето вы ехали вслед за нами сюда.

— Но это выше моих сил!

— А мою болезнь, весь ужас моего положения, причиною которого вы, одни вы, — это вы ни во что не считаете? Да вы должны у ног моих ползать, счастливым быть, что я хотя изредка позволю вам дышать одним воздухом со мною... Ах, это ужасно, ужасно!

Она выхватила из кармана платок, прижала к глазам, её всю забило. Зонтик выкувырнулся из её рук на песок. Девочка опять на неё в испуге уставилась.

— Милая, да полно! — попробовал он её утешить.

Но где же ей. было слушать его утешения! Она вся отдалась своему горю: он склонилась головою на спинку скамейки и рыдала, рыдала.

Ла...

— Ах, какая ты... да полно, — беспокойно говорил он, оглядываясь вокруг.

К счастью, на всём побережье никого не было; только вдали, совсем вдали, виднелась длинная фигура мистера Уэлькенса, на этот раз по невообразимой случайности оставившего свою подзорную трубку дома. Он недвижно смотрел на волны, и не намеревался двинуться с своего поста.

Наконец она успокоилась и вытерла насуху глаза; верхняя губка её покраснела и вспухла. Она подняла зонтик и снова его распустила, он успел как-то сам сложиться.

— Вы должны уехать, — сказала она неуспокоившимся голосом. — Вы уедете завтра же. Слышите?

Он хотел взять её за руку, она его отстранила.

— Хорошо, я уеду, — ответил он, — но я должен знать причину, почему вы настаиваете на этом.

— Ах, вы всё-таки не поняли. Ну, слушайте: я виновата, — я виновата перед мужем, перед этою девочкою, наконец, перед собою. Я

сделала гадость, я изменила мужу. Надо, чтобы было за это искупление...

— Да погоди: ну вот всё кончится у тебя, тогда мы разойдёмся, ты меня забудешь, заживёшь счастливо...

— Счастливо? С вашим ребёнком? Да он мне будет каждую минуту напоминать о моём позоре...

— Да, ну об этом надо было раньше думать, — подавляя в себе кипевшее бешенство, сказал он.

— О, я одна и буду нести всю тяжесть наказания! — мелодраматически возразила она. — Ребёнок будет жить на счёт мужа, он его будет кормить, воспитывать, ласкать, как своего, — а я буду перед ним всю жизнь лгать и лгать.

— Но я могу давать вам деньги на воспитание...

— Я вам швырну эти деньги в лицо! — крикнула она. — Как вы смеете это говорить!.. Вы знаете, что я для вас обманула мужа, который во всяком случае честнее вас.

Он хотел ей сказать, что как же год тому назад она выдерживала бурные сцены с му-

жем, потому что он завёл на стороне какую-то барыню; он хотел ей напомнить, что быть может она и бросилась-то к нему потому, что была обманута мужем, когда желание мести заговорило в ней сильнее других чувств. Хотел он всё это ей сказать, да удержался.

— Я завтра уеду, — повторил он.

Она помолчала. Он встал, хотел было вздохнуть, но счёл это лишним.

— Куда вы? — спросила она.

— Домой, — ответил он.

— Подождите, — сказала она.

Он сел на прежнее место.

— Послушайте, — промолвила она дотрагиваясь до его руки. — Вы на меня не сердитесь?

Он удивился этой перемене: голос её был гораздо мягче, да и лицо добрее.

— Вы не понимаете, — продолжала она, — что меня злит в вас. Меня злит ваше бессилие.

— Какое бессилие?

— Вы не можете захватить меня... Я не подчинена вам... Меня злит, что вы покойны. Но-

чью муж не спит, возится со мною, когда мне нездоровится, а вы спите у себя на даче — вам хоть бы что... Вы ничем не показываете надо мною своей силы. Я хотела бы любить такого человека, который бы владел мною безгранично.

Он не выдержал, и улыбнулся.

— А я бессилен, я не могу вырвать тебя от мужа? Я тебе сколько раз говорил: брось его, разойдись с ним.

— Он мне девочки не отдаст. А я не могу без неё.

— Да, ну так что же делать?

— Ах не знаю я, — ответила она, и прижалась к нему крепко-крепко.

Он с некоторым беспокойством глянул вдоль берега. Англичанин пропал, должно быть пошёл за трубкою. Он целовал её в подбор, который пришёлся как раз возле его губ, целовал маленькие, тёплые ручки, чувствовал её голову на плече...

— Что же, ехать мне завтра? — спросил он с недоумением.

Она подняла голову.

— Как хочешь. Подожди ещё два дня. Впро-

чем, нет: лучше уезжай. Не знаю...

Он взял её за обе руки.

— Да скажи ты мне одно: любишь ты меня ещё, или нет?

Она прямо и серьёзно посмотрела ему в глаза.

— Не знаю. Десять минут назад я тебя ненавидела.

— За что?

— Тоже не знаю.

— Так что же мне делать? — вышел он из себя.

— И этого не знаю.

Она встала, подозвала девочку, и взяла её за руку.

— Во всяком случае, — сказала она, — приходи вечером пить чай. Муж к тому времени вернётся. Тогда и поговорим.

— О чём?

— О твоём отъезде... Голубчик, ты не сердись, я не знаю, что со мною. Только я всё это говорю искренно...

Она протянула руку, которую он поцеловал, и пошла к небольшой калитке, что белела под густою чащею берёз. Платье её мельк-

нуло между кустами и скрылось.

Он постоял, сжал значительно губы и пошёл вдоль берега, стараясь идти по влажному песку, который был твёрже.

— Странная женщина, — проговорил он, безучастно смотря на англичанина, старательно выпятившего свою трубу в неопределённое пространство, — и повернул к себе на дачу. Голова его горела, он был очень взволнован.

А она, пожалуй, сказала правду, что мужчина не в состоянии понять самой простой вещи: мужчина всё или анализирует, или бесится...

II. В лесу

Лесною тропинкою, на мохнатой лошадке, Лехала амазонка. Было ей лет под тридцать; сидела она на седле весьма уверенно и смело. Следом за нею ехал господин одних лет с нею, черноусый, черноглазый, с раздувающимися ноздрями, с разгорячённым ездой лицом. Они ехали самую чащею, пронизанною тонкими иглами золотых лучей вечернего румяного солнца. Он смотрел, как светлая тень от листвы водопадом скользила по её синей амазонке и караковой лошади. Он смотрел, как упруго охватила материя её плечи и как плавно колышется она на развалистом ходе лошадки.

— Лизавета Борисовна! — крикнул он.

— А? — отозвалась она.

— Зачем мы тут едем?

— Здесь хорошо. Смотрите, какая прелесть...

— Скучно: я вас не вижу.

Она засмеялась, и повела хлыстом вокруг.

— Неужели вам это не нравится?

— Очень нравится, но только я вас не ви-

жу. Вы в тысячу раз интереснее всяких пейзажей... Что вам за охота...

Её лошадь перепрыгнула какую-то яму.

— Ещё новость! — пробормотал он, — пере-скакивая вслед за нею.

— Скоро будет прямая дорога, — обнадёжи-ла она.

— Я езжу с вами только для того, — гово-рил он, — чтобы быть с вами глаз на глаз. У вас дома целая кунсткамера всяких ушей. Только и поговорить, что на таких прогулках, а вы целые полчаса ездите по каким-то тру-щобам... Вчера шёл дождь, не ездили, сегодня поехали — а что толку?

Она слушала как-то одним ухом, слегка по-воротив голову.

— Сейчас мы выедем на прямую дорогу, — повтори-ла она, — вот за этим поворотом.

За поворотом, правда, оказалась дорога.

Он продвинул лошадь вперёд и сравнялся с нею. Она на него посмотрела с любопыт-ством.

— Так как же? — спросил он.

— Что? — спросила она.

— То, о чём мы говорили прошлый раз?..

— Вы удивлялись, отчего я не выхожу за муж?

— Да.

— Не хочется.

Он никак не ожидал такого ответа.

— Но ведь вы же за покойного вашего мужа вышли?

— От того-то больше ни за кого и не пойду.

— И за меня?

Она помолчала.

— Нет.

Он совсем стал маленьким на седле, точно в футляр ушёл.

— Можно узнать причину? — глухим голосом сказал он.

— Да и причин тоже никаких нет, — возразила она и прибавила. — Знаете, там опять пойдут камни, тут можно поднять галопом.

Она ударила своего конька; тот с места по скакал. Его лошадь, точно в дышло запряжённая, пошла равномерно рядом: он даже до поводьев не дотронулся.

— Чего она вертится! — думал он, смотря с остервенением по бокам.

— Какой он смешной! — думала она, иско-

са взглядывая на него, но больше обращая внимания на лошадь.

— Смотрите, телега! — сказал он, — держите.

Они опять поехали шагом, огибая с двух сторон кланявшегося мужика с трубкою и бабу, пугливо обнявшую какой-то мешок.

— Ну-с? — не отставал он.

— Отчего я не выхожу замуж за вас? — небрежно сказала она. — От того, что я ни за кого не выхожу; от того, что так лучше.

— Это по евангельскому тексту?

— Может быть. Да и зачем нам жениться? Мы друзья с вами, видимся каждый день... Пожалуй, если будем видеться чаще, надоедим друг другу. А главное — ну чего ради я лишусь свободы?

— Как лишитесь? Да разве я вас за решёткою буду держать?

— Конечно за решёткою! — весело ответила она. — Нет мужа, который бы дал жене свободу; впрочем, и прекрасно, что нет: если нам свободу дать полную... я не знаю что выйдет...

— Да ничего не выйдет.

— Поверьте мне, женщина всегда должна над собою чувствовать дамоклов меч. Ей и страшно, что она под ним живёт, и как-то мучительно сладко.

Он засмеялся.

— Первый раз встречаю женщину, которая так откровенна...

— А вы, продолжала она, — вы хуже всех, — вы таких решёток наставите...

— Господь с вами, что вы!..

— Да вы подумайте только: — что я теперь для вас? — ничего! А вы Бог знает что себе позволяете. Вы меня ревнуете ко всякому студенту, к каждому мужчине, с кем я говорю. Что же будет, когда вы приобретёте супружеские права?

— Ах, до чего вы меня не понимаете! — воскликнул он. — Да, я теперь именно потому и ревную, что вы мне не жена. Я знаю, что после ужина мне подадут лошадь, я сяду и поеду к себе, а вы останетесь с двумя тётушками, будете с ними целоваться, потом пойдёте к себе спать...

— Ну, и что же? — спросила она.

— Нет, вы слушайте, как я представляю се-

бе это. На одной тётушке жёлтый чепец, на другой — лиловый. Обе сидят важно и кряхтят. Вы подходите к одной; она вас крестит, говорит: «Спи, Лизуточка; спи моя радость». Другая так целует, что даже присасывается к вам, и говорит: «Господь над тобою, Лизуночек». Вы приходите к себе, начинаете раздеваться. Постель у вас холодная, чистая. Вы расстёгиваете лиф...

— Нельзя ли без подробностей.

— Нельзя! Вы раздеваетесь; если дело к осени — надеваете кофточку (летом верно вы спите без кофты), причёсываетесь, делаете букольки на ночь, ложитесь в кровать. Простыни такие холодные, и вам приятно. Вы вытягиваетесь, закидываете руки за голову: руки у вас такие белые, сочные, вкусные, мягкие... Зачем вы отворачиваетесь? Я правду говорю... Потом вы начинаете читать Доде, Мопассана или что-нибудь в этом роде. Потом тушите свечку, закрываете глаза и засыпаете. Это возмутительно, это ужасно!

В доказательство того, что это ужасно, он вытянул хлыстом лошадь, и сейчас же её сдержал.

— Что же тут ужасного?

— А то ужасно, что я в это время, как сумасшедший, рыщу по полям, извожу вконец свою лошадь...

— Вольно же вам!

— Не могу! Сил нет. Вы такая молодая, красивая, умная, чего пропадаете даром?..

— Как пропадаю? — изумилась она.

— Ну, да, — чего вы киснете среди тётушек?

Она вдруг вспыхнула и отвернулась.

— Это возмутительно, — продолжал он. — Замуравить себя в такой компании, монастырь завести такой. Уж ложились бы, по обету, на один бок, и не вставали бы тридцать лет, — я такого схимника видел. Или в столпницы записались бы. Это ведь неестественно, это возмутительно!

У него даже пузыри вскакивали на губах, так он возмущался.

— А были бы вы моею женою, — да Господь с вами: кокетничайте сколько угодно, с кем угодно. Я знаю, что вы моя, что после ужина, как бы то ни было, вы придёте в свою комнату, а ваша комната и моя — это одно и

то же. Теперь, когда вы сердитесь на меня, самое ужасное — что вы не говорите со мною, избегаете меня. А тогда, волей-неволей, вы придёте ко мне, и я всё вам скажу...

— Ну, вот, — воскликнула она, — это и есть стеснение; теперь, если я не хочу вас видеть — я и не увижу, а тогда — я обязана придти к вам, вот этого я и не хочу. Теперь, если я не подхожу к вам — вы ничего не смее-те сказать, а тогда — попробуй я тогда не пой-ти к вам, а велеть оседлать лошадь, да и уска-кать куда-нибудь... Вы меня на дороге пойма-ете, да ещё как — за косу!

Оба засмеялись.

— Видите, — сказал он, — я полагаю, что если бы вы были моею женою, то нам поло-жительно не из-за чего было бы ссориться. Те-перь я злюсь на то, что мне не всякий день удаётся вас видеть, что неприлично мне хо-дить следом за вами из комнаты в комнату, что неловко сидеть у вас целый день в будуа-ре. А тогда ведь все эти обстоятельства будут удалены. У нас причин-то к ссоре не будет.

— Ах, Боже мой, поверьте, вы сумеете най-ти тысячи причин да ещё каких самых глу-

пейших, чтобы придрататься. Проживём летом месяца два здесь, в глуши, — надоем я вам ужаснейшим образом, и будете вы ко мне на каждом шагу привязываться. Вас будет злить мой голос, моя походка, вы будете спрашивать, отчего я так глупо улыбаюсь...

— Я? — с ужасом воскликнул он.

— Да... Я вас подойду поцеловать, а вы подставьте щеку из милости, — на мол тебе подачку, убирайся только.

Он даже затрясся со злости на седле.

— Я, чтобы я?.. О, вы меня не знаете. Вот что я вам скажу... Ну, можете ли вы мне надоесть?.. Люди — пренелепое создание: вы знаете, тут что-нибудь из двух...

— Однако и последовательность у вас мыслей! — засмеялась она.

— К чёрту последовательность! — крикнул он. — Тут что-нибудь из двух: пьёт человек целый год херес, потом бросает. «Помилуйте, — говорит — он мне ужасно надоел, изо дня в день целый год». Другой пьёт его пять лет. и говорит: «Помилуйте, я к нему привык».

— Это как называется — гиперболою? —

спросила она.

— Это называется, — ответил он, — аксиомою: если женщина не захочет чего понять, то упрётся, как...

— Как осёл, — подсказала она.

— Как ослица, — полуулыбнувшись поправил он, — как ослица... Валаамова, потому что та говорила.

— Ведь это уж дерзости пошли, — заметила она.

— Да я ещё не того вам наговорю, — подтвердил он.

— Мерсі, я не желаю слушать.

Она хотела пустить лошадь вперёд, он удержал её под уздцы.

— Я вёл к тому, — говорил он, плохо понимая, что он говорит, еле связывая слова, — я хотел сказать вам, что я привыкаю к той обстановке, в которой живу, и она мне не надоет.

— Радуюсь за вас, — сдерживаясь ответила она; он начинал её злить.

— Я не знаю, что вы нашли во мне дурного...

— О, вы идеал! Совершенство во всех отно-

шениях. Вас надо под стеклом держать ради редкости. Только вот что я вам скажу: если вы теперь такой, — вы посмотрите на себя: глаза горят, губы раскрыты, брови сдвинуты — вы меня чуть зарезать не готовы; ну, что бы это было, если бы вы были моим мужем?.. В том-то и беда, друг мой, что у вас у всех убеждение сложилось, что вы властители мира, а мы — существа, созданные для вас... Как наш священник отец Иван говорит: «Хорошо быть женатым: придёшь домой — жена, самовар»... Вы ведь для самовара женитесь, чтобы вам тепло было. Вы и любите-то все из эгоизма, и подарки-то жене дарите за то, чтобы она вас любила...

— Какой цинизм! — пробормотал он.

— Цинизм! — передразнила она. — Скажите пожалуйста, а если жена ваша заведомо живёт с вашим приятелем и вас терпеть не может, — вы будете ей через день подарки возить, как бы её ни любили?

— Да это очень естественно, — протестовал он.

— Все вы эгоисты, у всех у вас самолюбие выше головы, все вы дрянь препорядочная.

Пустите, — я хочу вперёд...

— Нет, я не пущу, — со злостью ответил он, заслоняя дорогу.

Она вдруг круто повернула назад, ударила коня по шее, и во весь дух понеслась по дороге.

— Лизавета Борисовна! — кричал он, во всю прыть догоняя её. — Лизавета Борисовна!

Она не слушала и скакала вперёд. Он шпорил свою лошадь насколько мог. Вот она всё ближе, ближе, вровень с ним.

— Лизавета Борисовна!

Она не слушала.

Он опередил и круто стал поперёк дороги.

— Куда вы едете?

— Домой. Пустите.

— Не пущу.

Она попробовала взять в влево, но он загоразживал проезд всем телом лошади.

— Не пущу; кончимте разговор.

Краска бросилась ей в лицо, губы сжались, глаза вспыхнули.

— Вы меня сейчас пропустите, — тихо и настойчиво сказала она.

Он вызывающе смотрел на неё, выпрямив-

шись на седле и даже как будто улыбаясь.

Она вдруг подняла хлыст, между бровей явилась складка, углы рта опустились. Такою он никогда её не видал.

— Дайте дорогу!

Он покачал головою.

— Нет!

Она размахнулась, и во всю силу ударила хлыстом. Он только немножко съёжился, когда хлыст впился ему в шею. Зато лошадь разгорячилась от удара. Она поворотила в сторону и поскакала в лес, в самую чащу.

Он невольно провёл рукою по шее: что-то было больно и вздулось. Он точно не понял, что произошло, постоял с минуту, и тихою рысью поехал вслед за нею. Он не видел её, только приостанавливаясь слышал, что сухие ветви трещат под копытами.

Вот, наконец, мелькнула она. Тихо едет, и голову понурила. Лошадь идёт с каким-то недоумением: она не привыкла ходить шагом по такой дороге.

И вот они опять рядом, и оба молчат.

— У вас подпруга расстегнулась, — сказал он.

— Да, я чувствую, что сижу на боку, — ответила она.

— Надо подтянуть, — сказал он.

— Надо, — ответила она.

Он привязал свою лошадь и подошёл к ней. Она высвободила ногу из стремени и сняла другую с луки. Он протянул к ней руки.

— Как вам не стыдно доводить меня до этого, — сказала она, всё ещё сидя на лошади. — До чего я дошла, мне самой себя стыдно... Гадкий!..

Он взял её крепко за талию, она всем корпусом подалась вперёд, и вдруг — для удобства, должно быть — охватила его шею руками...

Так он и снял её с лошади.

Святочные огни (Рождественская сказка)

I

И лампа, и печка так ярко горели. Он сидел в своих креслах и читал. Он читал порывисто, нервно и жадно. Ему так нравилось чтение: порою он радостно улыбался.

Он был учитель. Просто учитель, самый обыкновенный человек, да и преподавал-то, вдобавок, русский язык. К нему ходили товарищи и пили пиво, и он тоже ходил к ним, только пил мало. Он больше говорил, а его любили слушать. Он пользовался вообще любовью товарищей, хотя ему завидовали; говорили; «ах, как ему хорошо и спокойно; он холост, семьи нет, он обеспечен и счастлив; чего ему ещё надо?»

Но никто не знал одного: не знали, что он самолюбив. А он был настолько самолюбив, что когда его оскорбляли, он молчал. Он считал унижением иметь дело с человеком, который способен оскорбить. Это принимали за незлобие и кротость. «Посмотрите, — говори-

ли про него, — сколько в нём смирения».

Когда же дома он оставался один, он начинал ненавидеть всеми силами души тех, кто оскорблял его. Но слёзы не душили его, и злость не трепетала в его груди. Может быть это и очень хорошо бывает в романах, что пишут умные и хорошие писатели, но в жизни, особенно здесь, и слёзы-то замёрзнут, если заплачешь зимою.

Он не плакал. Какое-то необычайное торжество мести охватывало его. Он шагал по кабинету, с злобным сознанием того, что нет преступления, которое рано ли, поздно ли не было наказано. Равновесие поддерживает мир. И вот, в силу этого-то равновесия, он и способен всё снести.

Но у него книга была, Книга в сафьяном переплёте, с застёжками. Всё только белая бумага. Он вписывал сюда всё, что видел, всё то дурное, весь ту накипь жизни, что постоянно был перед его глазами. За много лет он вёл эту летопись. С каждым годом она росла, и с каждым годом всё мрачнее и мрачнее картины развёртывались в ней. Чем дальше он жил, тем уже, тем определённое смотрел он

вокруг себя, и тем больше страданий и горя разливалось по этим чётко исписанным ровным почерком страницам.

И в те дни, когда перед Рождеством кончались занятия, когда он встряхивался, наконец, от вечной сутолоки, он к вечеру развёртывал свою книгу и с жадною радостью пробегал свою летопись скорби. Он улыбался, потому что чувствовал победителем себя, а не их, этих угнетателей. Порою он вскакивал в порыве веселья.

— А-а, вот вы, вот вы как!.. А когда, много лет спустя, будет суд потомства, тогда как? Тут не подкупишь. Тут правда, правда одна...

Он хлопал по книге ладонью и с любовью гладил её.

— Ты за меня, ты отомстишь! Отнесу, передам в хранилище, завещаю вскрыть через двадцать пять лет после смерти. Тогда увидят, всё увидят, всё поймут, те, кому дано это понятие...

Весело, празднично горят святочные огни во всём городе, но нигде нет такого довольного, такого радостного лица, как у него. Ну что скорби, что страданье! Всё это преходяще, ко-

гда знаешь, что наступить миг, когда всё это исчезнет. Исчезнут и эти люди, что пренебрегают им, что оскорбляют его. Погаснут те огни, что горят теперь, загорятся новые, и так же будут собираться около них ликующие люди, которые и не родились ещё теперь, и так же будут надеяться на что-то, пока им на смену не нагрянет новое поколение. А книга останется.

Вот в привычку у него вошло, именно теперь, на Рождестве, и за весь год, перечитывать свой дневник. Как он бережно хранит его. Но куда бы, куда в надёжные руки отдать его после себя?..

II

Весело пылают по городу рождественские огни, но у него они что-то хмуро горят в этот год. Да ещё бы. Он сам лежит на столе вытянутый, длинный, и читальщик протяжно читает над ним при мерцании восковой свечки. Так тихо, тоскливо. Только изредка забрякают бубенцы, и тройка по скрипучему снегу промчится мимо окна. Слышно, как ямщик гаркнет, и как постепенно замрёт в морозной дали шум бесшабашного веселья.

Он перестал думать. Он теперь уже не думает. Даже о своей мести забыл. Да и книга-то, когда положил он её в последний раз перед болезнью на шкаф, провалилась за него и застряла. Да и обтёрлась она как-то за последние годы, словно ржавчиною какою покрылась. Такая тёмная, скоробленная стала. А он думал о ней перед смертью, но всё как-то смутно, всё мысль не хотела на ней сосредоточиться, всё перескакивала на другие предметы, о которых он совсем не желал думать. Но ведь с этою болезнью разве сладишь, она всё время спорит и в тисках держит.

Там, в этой книге, много, очень много верных и хороших мыслей, там много горя, да настоящего горя, не придуманного. Там ключ, там разгадка этому человеку, что лёг так неподвижно на стол в форменном вицмундире и с чином коллежского советника. Души нет в нём, но душа перешла и осталась в книге. А книга лежит в пыли за шкафом.

А вот в той книге, что читает теперь над ним псаломщик, тоже много есть скорби, очень много, но всё же как-то выход там есть, нет той безысходности. Жаль, что некому

слышать псаломщика. Все уходят тотчас после панихиды, и никто не остаётся.

А он с чувством читает. И среди бровей коллежского советника какая-то странная складка замечается, точно он разобрать силится, вслушаться — и не может.

III

— Это, мама, что же за книга?

Она взяла её в руки и посмотрела.

— Это жил у нас жилец. Два года назад умер. Всё тогда с аукциона продали, а эта, надо полагать, за шкафом и осталась. Ишь переплёт-то какой...

— Мама, отдай нам.

— А что тут в середине?

Она развернула.

«...в чём же и есть подобие Божие, — читала она, — как не в том, что человек способен творить и созидать. А что же делает Прохор Фёдорович, его превосходительство: то, что было созиждено, и то разрушает. Картина регрессивного шествия...»

— Переплёт я отдам, — сказала она, — а середину надо вырезать, и лучше всего сжечь. Это что-то духовное. Вот вечером будут к ужи-

ну жарить гуся, так и положите под плиту.

Так весело было в этот вечер. Ёлка горела огнями, — пряники, леденцы, звёзды. Почтенные старички сидели за столами и играли в карты. В гостиной под ёлкой играл ящик с музыкою.

— Дети, плита затоплена, — сказала хозяйка.

И шумною гурьбою побежали дети, с большою охапкою исписанной, пожелтевшей бумаги. Её нельзя было положить всю сразу, стали бросать понемногу.

Огонь начал перечитывать страницу за страницей. Они скручивались, чернели, краснели и уносились в трубу. Наконец, последний лист дымом улетел наверх.

— Дети, кто хочет танцевать? — раздался призыв из гостиной.

Весь рой кинулся туда, перегоняя друг друга, роняя по пути стулья и табуреты. Все прыгали и повторяли:

— А какой гусь будет за ужином, какой чудесный гусь будет!..

1885 г.

На рельсах

Ночка была тёплая, тихая. Лес стоял недвижимый, безлистный, спокойный. Земля ещё упитанная едва стаявшим снегом, точно дышала. И что-то одуряющее, весёлое, молодое слышалось в этом дыхании. Сквозь сон, правда чуть заметно, но всё же бился пульс оживающей природы. Зимние голоса смолкли. На смену им пришли новые весенние, ещё невнятные, но живые звуки. Задорный лепет ручьёв — первый лепет ребёнка-весны, уже переходил в гулкий шум и беспокойное роптание.

Накось, через сырую ложбину, перекинулось высокое полотно. Рельсы смутно чернели тонкими полосками, убегая куда-то вдаль, в темнеющие леса. Избушка сторожа белела под откосом. Где-то там, возле рощи, далеко горит на пути огонь, — это следующая сторожка. Тишина, — словно этот живой, вечно гремящий шумными поездами путь отдыхает для сегодняшней ночи.

В полуверсте от полотна, в дряхлеющей сельской церкви зажглось так много огней.

Скудны доходы этой церковки, и прихожане бедны, а сколько блеску, сколько огня для сегодняшнего праздника. Пусть в избах и скучно, и темно, и грязно, что до того, когда здесь светло, чисто, радостно. И лохмотья куда-то исчезли. Рубахи всё чистые, только что вымытые, сарафаны на иных бабах с иголки, а с лоснистых кудрей сельских парней так и сочится коровье масло. Волостной старшина, кабатчик, писарь, урядник, — все на лицо. И пристав обещал приехать. Сельская учительница даже надела на левую руку браслет. Звонарь уже давно сидит под колоколами, и досадно ему, что ещё осенью пропил он свои карманные часы, что подарил ему барин, с которым он на куликов хаживал, и пропил-то всего за три рубля. Зато старшина надел двое часов, и батюшка может поэтому не посылать пономарёнка к себе домой, смотреть на часы с кукушкой, а справляется о времени у этого почтенного сановника, продушившего весь алтарь смазными сапогами.

У самого полотна, присевши на запасные шпалы, курил трубочку сторож, отставной рядовой Василий Мухин. Возле него вертелась

светлоглазая девочка, в новеньком платьице, с ленточкою на голове. Она вместе с отцом всё поглядывала в синеющую даль, и очень была недовольна.

— Ну что же, тятка, он нейдёт? — спрашивала она.

— Срок ещё не вышел, ну и нейдёт.

— Поскорей бы он прошёл, тятка. Мы с тобою сейчас тогда в церковь.

— И чего ты, дура, с мамкою не пошла?

— Не хочу я с мамкою, с тобою хочу. Мамка с Ванькою пошла, а я с тобою пойду.

— Да, жди — вот скоро ли мне свобода-то выйдет. Где он, поезд-то. Может... кто его знает, что там такое...

— Может людей что поубивало?

— Тьфу ты, типун тебе, сорока! Нешто в нынешнюю ночь может что-нибудь такое произойти?

— А сегодня, тятка, ведь ночь совсем особенная?

— Говори ещё! Известно, Воскресенье...

— Да ведь воскресенье-то каждую неделю?

— Так то какое воскресенье! Так — маленькое. А сегодня — Пасха. Ишь ты, в церкви-то

как светло, ровно день. Начнут, поди, сейчас.

Он выбил трубку и сунул её сердито за пазуху. Дочка рядком присела.

— Тятка, а для чего Бога на крест прибили? — начала она.

— Чтобы чувство в людях было.

— Это как же?

— Чтобы чувствовали. Если Он, Господь Бог наш, на такой муке, так что же нам-то? Мы что? Черви ползущие, тля. Мы покоряться должны.

— И Он так позволил себя гвоздицами здоровенными и в руки, и в ноги?

— Так вот насквозь. И в бок ещё копьём вдарили, и коленки перебили...

— Чувства, значит. у тех, у человеков-то, не было.

— Одервенели, братец мой. Это бывает. Вон в роте у нас был солдатик Никифоров. И чем его больше порют, тем он дервенеет больше. Первое ему дело резать. Коли долго крови не видит, в азарт войдёт. Кота прирежет, либо щенка какого. Такой был пёс, прости Господи! Уж как его лупили: и по морде, и меж крылец, и розгами драли, а он только чернеет. Напо-

следок совсем почернел: ровно голенище стал...

— Ведь такой, тятка, на всё пойдёт: и винты с рельсов вывинтит.

— Ему что! Он на рубль винтов продаст, а там ему хошь весь поезд в щепы разнеси — наплевать.

— Намедни Митька стал гайку отвёртывать...

— А! Ишь ты, паршивец!..

— Я увидала. «Ах ты! — говорю, — вот я тятке скажу, он-те накладёт!»

— Уж наклал бы... Не пожалел: вихры-то новые отращивать пришлось бы...

— А ты, тятка, что же сегодня тутотка сидишь, а не там, у садика?

Сторож повернул к ней голову.

— И до всего ты доходишь, везде тебе нос сунуть хочется. Сижу, значит надо...

Он помолчал, подумал, постучал сапогом о землю.

— Шпалы тут штук пять в ряд, — нехотя заговорил он, — ляд их знает, измочалились совсем: пальцем ткнёшь — ровно труха, и как раз на самой скрепке. Уж я тут и сижу.

— А что же?

— Должён же я в сомнительном месте быть, потому служба. Не ровён час что — я тут.

— А ведь коли поезд, тятка, хватит в сторону, не убежишь: раздавит.

— Тут, братец мой, косточек не сосчитаешь... только мокренько будет.

— Страшно, тятя!

— Чего страшно. Ничего не страшно.

Он сделал несколько шагов и остановился у тех шпал, что наводили на него сомнение.

— Ишь их как развезло, — подтвердил он, отбивая сапогом дерево целыми кусками. — Уж и лес тоже ставят. Ткнуть бы их сюда рылом, чтобы брюхо-то не очень растили... Давно ли перемена-то была, — третьим летом.

Он опять потянул из-за пазухи трубку.

— Не след бы в такое время, — проворчал он. — Ну, да ещё утренняя не начиналась.

— Тятка, смотри, народ-то так и подваливает к церкви.

— Ещё бы нейти. Таперь всё, таперь вся Россия, можно сказать, идёт. Старухи безногие на печках остались, да и те на карачках

ползут, которая может. Таперь все должны быть, которые верующие...

— А вот ведь ты, тятка, не в церкви.

— Я! Я на службе. Солдат, примерно, в карауле, он на царской службе, он по уставу воинскому.

— И ты по уставу?

— Коли я сторож. Я хоть и «Обчеству» служу, а всё одно — служба. Вот уйди я, и Боже мой, что может такое сотвориться! Или вот стрелочник опять. Самая ответственная точка. Не довернёшь рычаг, аль на проезде опустишь, такая каша — вагон на вагон... А поезд-то этот самый важный: курьерский. Шестьдесят вёрст в час дерёт.

— А кто же ездит на нём?

— Генералы больше. Самые важные. И от инфантерии, и от артиллерии. Вот Скобелев был, и тот ездил всегда на курьерском. Подушки мягкие, с пружиною, малиновый бархат. И диваны, и газ в вагоне горит, и тепло по трубам идёт, и умывальники устроены. На рессорах, так это покачивает.

— Хорошо им, тятя!

— На что лучше! Только и лупят с них. «Об-

чество»-то тоже охулки не кладёт на руку. «Вы, — говорит, — на малиновых подушках желаете? Пожалуйста тридцать рублей». А нет — ещё отделение секретное отпирают. Пожалуйста ещё двадцать рублей... Хорошо наживают! А вот ещё инженер едет. Так тот страсть. И денег не платит, и всё начальство мечется по углам, как зайцы.

— Чего ж они?

— Боятся. Инженер — он хуже генерала для них.

— Это которые строят?

— Ничего не строят. Уж всё построено. А он своей строильной науке обучился, и сейчас ему место дают, чтобы за линией смотреть. Вот он и едет, спит в вагоне. Приедет на станцию — сейчас зельтерской воды, — и дальше. Трепет на всех наводит. Их кукуевцами дразнят. Обижаются.

— А как же, тятя, они под такой большой праздник едут?

— Кто их знает, может больше те, которые из немцев. Им это всё одно. коли поста у них нет. Я в денщиках у поручика Блюхера жил, так они целый пост скоромное потребляли.

Для них и на станции всё мясное держут.

Девочка прислушалась, голову наклонила.

— Ровно бы торохтит поезд-то?

— Постой, нишкни! Не?! Это так.

— Ждать долго.

— По всей линии ждут. У Завалиловки пассажирский поезд полтора часа в поле стоит, ждёт пока этот прогонят. По чистой линии прёт, на станциях, на мелких, он не останавливается. И Господи, что за возня! Путь очищают, жандарм ругается, начальство всё в сборе, а на дворе в ину пору снег, да холод, — только волки подвывают. Ждут, ждут, а он как пуля прямо — шмыг, и нет...

— А хорошо таперь, тятя, в тёплом вагоне!

— Известно хорошо.

— А для чего же так скоро ездят они, тятя? Зачем им так скоро?

— Нужда, стало быть. Во всех землях так ездят. В Турции уж на что — и то. Оно точно, что особенно и спешить-то некуда. Ведь вон ездят же на волах — и ничего, к спеху успевают. А это уж так, мода, чтобы сейчас здесь, сейчас там. Нынче всё наспех. едят наспех, пьют наспех. В вагон сядут, так у всех губы ча-

ем ошпарены. Зато скоро. Старики не поверили бы. Таперь вон из Петербурга в Москву на один день на именины ездят. Поручик Блюхер без отпуска уезжал: отпросится и уедет. Конечно, баловство одно...

Звонарь гулко хватил в колокол. Звук замер, словно на мгновение, и потом широкою, свободною волною прокатился по ложбине. Василий Мухин снял шапку и начал креститься.

— Смотри, тятка, вона с хоругвями тянутся, — звонко закричала дочка, и стала показывать вдаль пальцем. — Вона идут, и фонарь впереди. Фонарь хотел Мишка Безрукий нести.

— Бежи туда, Танька, поспеешь. Ну чего тебе тут, нехорошо.

— Не, я боюсь одна.

— Чего бояться? В таку ночь ничего бояться не надо.

— Нет, ты что же один. Я не хочу. Все в церкви, все молятся, а ты тут один на рельсах. Всё же я буду, по крайности, с тобою.

Отец посмотрел на неё сверху.

— Ишь ты какая! Отцу, мол, скучно. Ну,

брат, это хорошо.

Он даже отвернулся и стал смотреть в сторону; это значит, что уж очень был он доволен.

— Ну, Христос воскрес! — пробурлил он, наклоняясь к ней.

Она обвила ручонками его шею и стала целовать в жёсткие, пропахнувшие махоркою усы.

— Тятя, а я два яйца принесла, — внезапно радостным шёпотом заговорила она, — чтобы нам разговеться.

— Что ты, глупая! Да нешто можно несвященные яйца есть? Вот, погоди, матка из церкви придёт.

Танька опешила.

— А я думала... — начала она, и не договорила. Очень ей обидно было на свою догадливость.

— Да ты сама-то ешь, ты ребёнок, тебе можно.

— Не... мамка заругает!

— Я не скажу, ешь.

— Не... Вместе будем, — что ж я без тебя.

Он опять на неё покосился.

— Ну, сиди голодная.

Помолчали маленько.

— Как в лавку пойду, — начал он, — сосулек куплю тебе. Хотел сегодня, да удосужиться не мог.

Положим, он врал: никаких сосуллек он сегодня покупать не собирался.

— Тятя, вон вокруг все пошли. Красиво-то как... А и народищу-то что. И ветру нет, не колыхнёт.

— Таперь, как утром солнце играть будет, — заговорил он, — на самом восходе.

— Это как же?

— А так: играет, играет, переливается, ровно бы смеётся. На Рождество вот тоже! Так бы и смотрел всё, не налюбовался...

— Тятка, поезд! — вдруг взвизгнула она.

Мухин быстро прынул с места. Три знакомых чудовищных огненных ока сияли вдали.

— Пошла долой с пути! Закалякаешься тут с тобою, как раз не досмотришь.

Дальний гул и грохот покрыл далёкое церковное пение. Огнистый пар рвался из трубы и летел куда-то в бок.

— Эк их дует, запоздали, так нагоняют, — ворчал сторож, направляя фонарь на встречу

паровозу.

Рельсы глухо стонали. И звон колокольный словно стал слабее. В тишину ночи ворвался новый шум и покрыл собою все звуки ночи. Ближе он, ближе. Рельсы режут и звенят. Три глаза мечут яркие снопы лучей. Пар рвётся и беснуется над трубою: шипят поршни, визжат цепи; машинист вытянулся и смотрит куда-то вперёд. Вот летят вагоны — ярко освещённые, тёплые, мягкие. И сквозь не спущенные шторы видно, что они пусты, что нет никого там, что никому не нужно в эту ночь никуда ехать. Вот и задний вагон, и красный фонарь, и нет ничего, всё умчалось вдаль, наполнив воздух дымом и шумом. И шум утихает, замирает, и опять колокол гудит, и оповещает миру, что Христос воскрес две тысячи лет тому назад, когда ни этих колоколов, ни этих поездов не было...

— Ишь черти, пустой поезд гоняют, — сердито проворчал Мухин и потушил фонарь.

— А теперь в церковь не пойдёшь, тятка?

— Когда ж мне идти, коли через пятьдесят минут товарный пойдёт. — Пошла одна.

— Не, посижу... Ты завтра сосулек купишь?

— Ах, ты, — сама-то сосуля. Право сосуля, да ещё копеечная. Ну, давай балакать. Тоже Бог дочку послал...

И присели они опять на шпалы, и стали опять поджидать другие огненные глаза, с другой стороны. А ночь весенняя, тёплая, летела над ними...

Апрель 1887 г.

Кулисы

I. Тень отца Гамлета

Ghost. - Oh, horrible! Oh, horrible! most horrible!

Hamlet. Act I, Scene V. 80.[3]

Конкордий Архипелагов, воспитанник Н-ской семинарии, испытывал неизъяснимый трепет. Несмотря на свой колоссальный рост, соответственные мускулы, равно как и горловые струны, вибрацией коих он потрясал своды городского собора, ради вящего умиления купечества и немалой гордости властей — несмотря на такие средства, при которых, не обладая особой застенчивостью, можно избить ослиной челюстью полчища филистимлян — всё же он трепетал. Трепеща вступил он на подъезд гостиницы, трепеща прятал в карманы долгополого хитона свои красные склизкие пальцы, трепеща озирался, и тихо спросил у швейцара:

— Артист местной драматической труппы,

Иван Иванович Крутогоров, здесь стоит?

Швейцар посмотрел на него не без недоумения: он боялся принять его за «человека», но в тоже время сомневался, чтобы это был «барин».

— Семнадцатый номер, второй этаж, по коридору, — лаконически ответил он, показывая на лестницу бровями и глазами.

Конкордий Архипелагов весь встряхнулся, как мокрая собака, и начал шагать своими необычайно-худыми и длинными ногами. Он безо всякого усилия переставлял их сразу ступеней через пять, так что буфетный мальчишка, бежавший навстречу с огромным подносом, на котором стояло маленькое блюдо с ломтиком лимона, — с удивлением прижался к стене и глядя на его ноги пробормотал:

— Ишь... ишь...

В коридоре второго этажа Архипелагов остановился и окончательно упал духом. Он не решался взяться за ручку ярко вычищенного замка. Он, затаив дыхание, смотрел на фигурно выписанную цифру номера, и чувствовал, как сердце его прыгает. и рвётся в груди... «Ровно бы архиерей на экзамене по

философии», — невольно пришло ему в голову.

Но нельзя же стоять на посрамление проходящих. Надо войти. Ему припомнилась кротость царя Давида, Руфь на ниве Вооза; он перекрестил себе пуговицу и скрипнул дверью.

В комнате было накурено. На столе в беспорядке стояли вчерашние бутылки, на донышке которых темнели остатки жидкостей, известных на Руси под именем иностранных вин. Грязный самовар, уставший кипеть, порою печально всхлипывал. Направо в углу, у печки, стоял колоссальный сундук, а поверх него, на старых «Московских ведомостях» были разостланы пёстрые принадлежности какого-то костюма, обшитого скверным позументом и ещё более скверной бахромой. У стола, в куцем сером пиджачке, сидел невзрачный, взъершеный, коротенький господин с папиросой в зубах, мастеривший какую-то необычайную шляпу. При входе гостя он оглянулся, — и гость тотчас сообразил, что это «он сам».

— Имею честь рекомендоваться, — пролепетал он, прижимаясь спиной к двери, — се-

минарист Конкордий Архипелагов...

Несмотря на слабо-трепещущий голос, и скромный вид вошедшего, Крутогоров сразу поднялся со стула — до того впечатление было грандиозно: — казалось, в комнату вошёл человек долго лежавший под прессом, бесконечно вытянувшийся кверху и книзу. При слове «Конкордий» — стакан звякнул в унисон, и в окне что-то задрезжало даже...

— Чем могу служить? — спросил Крутогоров, и тотчас же прибавил, — Прошу покорнейше садиться.

* * *

— Не изволил ли вам говорить что-либо обо мне почтеннейший Семён Александрович? — спросил Архипелагов, конфузливо глядя сверху на актёра. Его ужасно стеснял рост: кажется, чего бы он не дал в эту минуту, чтобы умалиться.

— Нет, — с недоумением ответил Крутогоров, — а что-с?

— Почтеннейший Семён Александрович говорили мне, что передадут вам о моём страстном желании...

Он заикнулся, словно подавился.

— Нет, антрепренёр мне о вас ничего не говорил.

— Запомняли, — так-с. Иначе и быть не может. Они согласны-с, а только вот позабыли... Они сказали, чтобы я непосредственно обратился к вам, Иван Иванович. Вы как артист, Иван Иванович, как великий, можно сказать, артист, истолкователь, так сказать, Шекспира, — вы скорее можете судить, Иван Иванович, — и сказать-с: как и что-с...

Иван Иванович всё-таки не понимал:

— Вы, милейший, мне суть изложите.

— Дело идёт о призраке, Иван Иванович.

Иван Иванович просил повторить это слово.

— О призраке, — невозмутимо повторил Архипелагов. — О призраке отца Гамлета... Семён Александрович говорили, что вы будете играть здесь Гамлета, датского принца, и что необходим для этого призрак, и что у меня есть все, с позволения сказать, средства для такого изображения.

Крутогоров ещё раз окинул его взглядом с ног до головы и решил, что действительно, средства у него подходящие.

— А вы играли когда-нибудь? — спросил он.

— Не случилось, — с сожалением заметил семинарист.

— Да... Так это будет, пожалуй, затруднительно.

— Семён Александрович слышали, как я стихи читаю... Они очень умилились, и говорят: тебе бы Шекспира...

— Ну, а вы не сконфузитесь?

— Помилуйте, — ведь на экзаменах-то хуже. — Опять же Апостола читаем перед губернатором а тут до некоторой степени в гриме призрака. Ведь полагаю, мне в натуральном виде выйти нельзя?

— Полагаю. Вам надо в рыцарском облачении...

Архипелагов радостно усмехнулся, и даже плечом повёл, точно чувствуя на себе боевые доспехи.

— Это занятно-с... Облачение картонное-с?

— Не знаю-с, — какое дадут. Не прикажете ли папироску?

И оба закурили.

— Я должен вас предупредить, — начал

Крутогоров, — что некогда «Тень» изображал сам автор.

— Покойный Шекспир-с?

— Да. Из этого вы можете заключить, какое значение он придавал роли. — Я тоже ей придаю значение.

При последних словах артист так сморщился, соорил такое выражение лица, что не оставалось никакого сомнения в солидарности его с Шекспиром.

— «Тень» должна... как бы вам это объяснить?.. Она должна поднять принца.

Архипелагов выразил некоторое недоумение.

— То есть, понимаете, — поспешил его собеседник, — поднять его дух... Настроить его, дать камертон дальнейшей клятве на мече. Понятно?

— Это можно-с. Голос глухой должен быть?

— Да, замогильный.

Архипелагов крякнул как-то и опять стёкла дрогнули в оконном переплёте.

— Это выйдет. Докладываю вам, что я, как чтец, стяжал в некотором роде известность по городу. Меня затрудняет проникновение

слухов до начальства, касательно моего участия в театральном представлении. Всё же театр-с и носящий, так сказать, языческую маску... Я желаю предаться этому совершенно втайне...

Голос его вдруг дрогнул, точно он снова поперхнулся.

— И я, Иван Иванович, — молящим тоном заговорил он, — осмелился бы попросить вас не разглашать насчёт этого события. Это могло бы повлиять на дальнейшее моё прохождение курса. Но действительно стораю от страсти к сцене, Иван Иванович. Мне Семён Александрович предлагали в прошлом месяце играть, но я почёл непристойным участие в оперетте «Прекрасная Елена», хотя бы и в роли Ахиллеса: танцевание и пение не идёт в состав моих предположений...

Иван Иванович согласился с ним, сказав, что оперетта, — это временный нарыв, который рано или поздно лопнет, и что последствия такого нарыва могут быть ужасны: они могут заразить здоровое общественное тело.

* * *

О приезде господина Крутогорова N-ския

газеты давно уже трубили. Местный «Листок» даже напечатал его биографию, где говорилось о том успехе, которым пользовался «истолкователь Шекспира и Шиллера» не только всюду по России, но и в столицах. Классический репертуар у г-на Крутогорова доминирует, говорилось в «Листке», и это слово доминирует — ужасно понравилось N-ской публике: оно стало модным, вошло в разговор. Приезд Крутогорова состоялся в заранее определённый телеграммами час, и несколько разочаровал собравшихся «почитателей таланта». Хотя сундук, прибывший с актёром, был велик, зато он сам ужасно плюгав и мал ростом. Лицо его было с отёками от выпивки и бессонных ночей. Он выслушал на платформе вокзала приветствие, которым его встретил представитель печати, редактор «Листка» Федоренко, и снисходительно заметил, что надеется оправдать доверие общества. Но когда ему предложили завтрак на вокзале, он отказался, заявив, что к «манифестациям» он не привык. Держал он себя довольно изолированно и гордо: дам, которые сунулись было к нему с выражением сочувствия, он не допус-

кал. С визитами ни к кому не поехал, но навел свою старую приятельницу, купчиху Снежкову, супругу богатейшего в городе коммерсанта, пылавшую непреоборимой страстью ко всем артистам вообще, а к трагикам по преимуществу. — «Листок» в восхищении оповестил читателей, что артист выступает в «Гамлете», этом величайшем творении английского поэта. Говорили о Крутогорове очень много, потому что слышали о нём ещё больше. Вообще ждали его дебюта с нетерпением.

Весьма понятен, в силу вышесказанного, тот хладный трепет, который охватывал семинариста во время беседы с истолкователем Шекспира. Когда Конкордий простился с ним, вышел на улицу, и его обдуло свежим ветерком, — тут только он несколько опомнился. На душе его было светло и радостно. Он даже останавливался порою и полною грудью вдыхал воздух. При переходе через низкий деревянный мост, висевший над оврагом и речкой, он остановился, облокотился на перила и так долго смотрел на воду и травку, там и сям прорывавшуюся сквозь её поверхность, что

вокруг него даже начали собираться. Наконец он опомнился, и побежал к Семёну Александровичу с радостным известием, что «они» согласились.

Медлить нечего было: послезавтра шёл «Гамлет». — Конкордию вручили крупно и скверно написанную тетрадь, заключающую в себе роль «Тени» по переводу господина Загуляева. Крутогоров был артист современный, как он сам говорил — «человек нервов и рефлекса», почему и не мог играть по одному переводу: одну сцену он играл по Загуляеву, другую по Полевому, третью по Кронебергу, четвёртую по Вронченко. Даже отдельные фразы он слеплял как мозаику, по разным переводам. — Он очень гордился этим месивом и всегда говорил:

— Могу сказать, что такая обработка стоила мне труда: я думаю, в отношении добросовестности трактовки, никто за мной в «Гамлете» не угонится. Да и много ли нас, Гамлетов, теперь в России? В Одессе — Игнатъев-Козлик, в Харькове — Чаровников, да в Москве, на казённой сцене — Онегин, — вот и все.

Архипелагов учил свой моноложище всю

ночь напролёт, закутавшись в простыню, сидя в своей конуре, вымазав себе физиономию мелом и вглядываясь одним глазом в осколок зеркала, торчавший на столе рядом с огарком. К сожалению, он не мог во всю силу читать роль, чтобы не перебудить товарищей. Его бы квартирная хозяйка согнала моментально со двора. Да при том, он скрывал почти от всех своё дерзкое предприятие.

Если бы кто заглянул к нему в маленькое окно мезонина, — он непременно изумился бы необычности картины. Конкордий сидел на табурете и раскачивался длинным телом взад и вперёд, бормоча роль и строя гримасы. Простыня белыми складками драпировалась на нём; — под простынёй у него ничего не было, и поэтому худоба выдавалась ещё рельефнее. Его шёпот глухо гудел по комнате, как ветер в трубе; кулаки судорожно сжимали тетрадь. Свечка неровно горела, пламя прыгало и мигало, за стеной щёлкали часы и храпел кто-то, — но он ничего не слышал...

Добился он того, что свой преступный пыл

*Супруге он моей, изменнице, внушил,
Ей, добродетелью прославившейся
прежде...
О, Гамлет, где же жить обманчивой
надежде,
Когда и тут гнездо уж свило преступленье!
Да! Страшно было матери твоей
паденье!..[4]*

О, как ясно ему рисовалась эта картина! Злой, ехидный родственник овладевает короной; благороднейший принц, вместо того, чтобы вступить на престол, терзается муками сомнений...

*Ни разу данных клятв ничем не нарушала,
Вдруг променять на гнусного мерзавца!*

Слово «мерзавца» у него выходило особенно сильно, каждый раз, когда он его произносил, в углу товарищ всхрапывал сильнее, и раз даже спросил: «а?» Часы били и два, и три, петухи запели, а он всё зубрил:

*...и вот
Как потерял я, сонный, мой ве-
нец,
Существованье и супругу...*

Петухи ещё раз запели, по улицам не было ни прохожих, ни проезжих. В комнате стало холоднее, звёзды стали блекнуть, и роль его как раз подошла к концу:

*Священный червь уже бледнеет,
возвещая,
Что утро близко.*

Он повалился на кровать, сунул ноги в промежутки железной решётки (целиком он на постели не умещался) и захрапел с остервенением, с сознанием своего права на отдых, и с чистым сердцем.

* * *

Пришёл он на репетицию так рано, что даже плотников не было на сцене. Ходя по тёмным и сырым закоулкам, он ощущал невольное благоговение. Мрачный зёв зрительной залы смутно чернел в глубине. Дрожь охватывала его, он сжимал и без того смятую тетрадку, и всё бурчал про себя: «О, страшно, страш-

но, страшно несказанно!» — Он надеялся так взять эту фразу, как не вытянуть и соборному протодиакону.

Наконец, начали собираться. Семён Александрович добродушно похлопал его и осведомился о здоровье. Примадонна, игравшая Офелию и явившаяся в шляпе с целым кустом мака, прищурившись спросила: «Это что за цапля?» Крутогоров был далеко не так любезен, как у себя в номере: вдобавок он так морщился и потирался, словно у него были спазмы в желудке. Но желудок его был здоров, а это он хотел казаться перед всеми озабоченным и очень талантливым.

Первая сцена, конечно, пропускалась — и призрак являлся непосредственно принцу. Когда дело дошло до его выхода, Семён Александрович подскочил к Крутогорову.

— Родной мой, а как нам быть с «Тенью»? Люк что-то плохо действует... даже можно сказать совсем не действует, — ни взад, ни вперед...

Крутогоров ужасно сморщился.

— Это жаль... Да, как же вы, милейший, не озаботились?.. В таком случае... Пусть он за

дерево зайдёт что ли... Как будто пропал... Нельзя же за кулисы ему просто уйти... Или, во всяком случае, вы хоть калоши ему резиновые что ли наденьте, что б не слышно было.

— У меня, Иван Иванович, другая комбинация: если проложить рельс, да выкатить его на тележке? Эффектец? Ась? Яко бы плывёт по воздуху?..

Крутогоров потёр себе лоб.

— Идея недурна... Хотя я никогда не применял такого способа передвижения к «Гамлету»... Да! Прокатить его, так что за камнями и кустами не было бы видно низа... Идея недурна...

— А сбоку электричеством дёрнуть?

— Да, это можно... Так и распорядитесь...

Он обратился к Архипелагову и сказал.

— Начнём!

Тот кашлянул в кулак, да так зычно, что Офелия подпрыгнула на скамейке.

— Точно труба из апокалипсиса, — объяснил Семён Александрович.

Когда Архипелагов проговорил первую фразу: «Взгляни мне на лицо», стены дрогну-

ли, разговоры смолкли.

— Нет, послушайте, — это слишком, — остановил его Крутогоров. — Так нельзя: вы публику испугаете. Скажите это вполголоса.

Он сказал вполголоса, но и это оказалось неудобным, — пришлось съехать на четверть.

А в четверть голоса вышло великолепно: это был такой могучий, такой низкий бас, он так гудел в пустом театре, словно над сценой в набат били. Читал стихи он чудесно, — чувства в нём была бездна; — когда он сказал:

*Внимай, внимай, внимай, и если
ты
Родителя любил...*

у него в голосе зазвенели слёзы. — Крутогоров об одном только просил: «Не повышайте голоса: не повышайте и выйдет дивно». — Знал он роль превосходно, — так что суфлёр, сидевший верхом на будке, и евший мятные лепёшки, только покряхтывал. Ни одного замечания не пришлось ему сделать; Семён Александрович, тот даже руки кинулся ему пожимать. Архипелагов расцвёл не хуже ма-ка на шляпке Офелии.

Портной его пригласил примерить латы. Всякое вооружение оказывалось ему мало, и выглядело совсем игрушечным. Зато крошечная головка его положительно утопала в широком шлеме с забралом и конской гривой. Шея упрямо вылезала из всех воротников, как бы они высоки ни были: пришлось навертеть на неё всякого тряпья, чтобы только прикрыть. Вместо плаща дали ему кусок старого неба, по краям которого наклеили из серебряной бумаги бордюрики. Впечатление получилось странное, и во всяком случае подходило к представлению о выходе с того света. Семён Александрович остался доволен, и велел только на спектакле окутать его самым лёгким газом, флёром, крепом, чтобы совсем получилась бесформенная, неопределённая фигура.

Вообще Семён Александрович был очень доволен, тем более, что Архипелагов играл у него за три рубля...

* * *

Нужно ли говорить, в каком волнении находился Конкордий в день спектакля? Он не мог ничего есть: перед его глазами носилась

величественная фигура покойного короля, которая вечером поразит театр. И этот король будет он! Он поразит!

Крутогоров тоже приятно волновался. Он решил в этот вечер окончательно покорить коммерсантку Снежкову, как своим талантом, так и пластичностью движений. Ему в этом деле именно должен был поспособствовать Архипелагов: воспользовавшись хорошей «Тенью», он решил прибегнуть к некоторой мимике, до сих пор им не практикованной, и к некоторым градиознейшим позам, неотразимым по своей картинности. Потому-то он обратил особенное внимание на Архипелагова и гримировал его сам.

Вышло нечто ужасное! По бледно-мертвенному лицу проступили коричневые пятна, глаза провалились, нос необычайно белел и выдвигался вперёд чуть не на четверть аршина. Когда Конкордий подошёл к зеркалу, его самого отбросило и он только пробормотал:

— Страховидно, весьма страховидно!

Но зато осмотр тележки, назначенной для вывоза «Тени» на сцену, немало смутил Крутогорова. Это была низенькая платформа, ка-

тившаяся по рельсам, от неё шла через сцену верёвка на простом блоке.

— Э-эх, — как же без ворота, — сказал он, — ведь это толчки будут.

— Мы лёгонечко, — успокоил плотник. — Они говорят, что на ногах крепки.

— Всё-таки на платформе надо упор сделать. Палку прикрепите, что ли...

— Когда же теперь, помилуйте, — занавес поднимают...

Крутогоров выругался и бросился к Семёну Александровичу.

— Дайте ему пику. Пусть он хоть о неё обопрётся, чтобы упор был... Ведь это, чёрт знает что!

Из кладовой, где лежал всякий бутафорский хлам, вытащили длинейшую пику, с каким-то ещё значком. Архипелагов поналёг на неё, и сказал:

— Ничего, выдержит!

Предчувствие близкой беды беспокоило Крутогорова. У него неотвязно вертелась в голове мысль: что если «Тень» от внезапного толчка упадёт — этакая махинища рухнет! Архипелагов говорит, что он на коньках уме-

ет, — да ведь это всё не то...

Однако занавес пришлось поднимать. Крутогоров закутался в потёртый бархатный плащ и опустил грустный взгляд долу; изредка он его поднимал, и встречался взорами с коммерсанткой Снежковой — Снежкова порывисто дышала, впившись в бинокль. Её пышная грудь и обнажённые плечи трепетали, брильянты горели огнями на шее. Даже веер что лежал у неё на коленях, привязанный серебряным жгутом к талии, — и тот припрыгивал. Она чувствовала, что Крутогоров играет только для неё, для неё одной...

Весь монолог он прочёл, обращаясь к её ложе. И как он глядел, ах как он глядел на неё в эти минуты! Сколько чувства, страсти было вложено в него!.. И никому в зале и в голову не пришло, что принц в это время думает: «Не сплеховала бы только подлец-тень...»

Перемена декорации. Театр гремит. Аплодисменты. Аплодируют все, даже дамы, — а Снежкова усерднее всех. Крутогоров посылает ей специальный поклон. Он поразил её в самое сердце. Победа! Победа!

На сцене бьёт полночь. Принц кутается от

холода; за сценой вальс и пушечные выстрелы. Гамлет с трепетом, украдкой посматривает в ту сторону, откуда должен выехать его покойный родитель Он с ужасом думает: «А что если тележку не смазали, и колёса будут пищать на каждом повороте?..»

Но вот шепелявый Горацио схватывает его за руку: «Смотрите, принц, — идёт!»

Гамлет глянул, — и, действительно, в ужасе опустился на землю.

Длинная, сухая, бесформенно-серая фигура, озарённая электричеством, приближалась к нему. Она приближалась порывистыми толчками, по мере того как плотники дёргали за верёвки. Что ни толчок, с «Тенью» делались судороги: она, соблюдая равновесие, приседала, кланялась во все стороны, балансировала то на одной ноге, то на другой, махая копьём, — ну словом мучилась от необычайных страданий. Но лицо её было мертвенно и безжизненно...

Это было действительно страшно. Крутоголов кое-как прочёл свой монолог, и приготовился к речи призрака...

Дошла очередь говорить ему... Призрак

крякнул, да так, что у бедного принца волосы стали дыбом. Мало того, он отплюнулся в сторону, и вытерев губы пробасил:

— Взгляни мне на лицо!..

Но принц не решался взглянуть, тем более, что сплошной хохот стоял в зале... Он в адских муках лежал у ног тени и ждал — скоро ли, скоро ли, скоро ли конец!

А «Тень» не смущалась нисколько, — она чудесно читала свой монолог, всё повышая и повышая голос почти до степени громового раската:

*О, будьте прокляты преступные
дары,
И ты, лукавое, ласкательное
слово...*

Глаза при электричестве горели зловецим, фантастическим блеском... В театре притихли, успокоились: за кулисами дарило безмолвие, даже в коридорах, в швейцарских слышны были могучие перекаты. В первых рядах раздавалось сдержанное «браво, браво!».

Но принц, лёжа во прахе, думал об одном: «Господи! опять его потянут, опять он заку-

выркается...»

...Прощай, прощай, прощай, -
гудело над ним —

И помни об отце, безвременно погибшем.

Плотник потянул верёвку, «Тень» внезапно присела, потом выпрямилась, крякнула, подалась вперёд, попала копьём в дерево, покачнулась, поправила съехавший шлем, и в корчах поехала далее...

Всё пропало! Театр стонал от хохота... Хохотала до слёз и коммерсантка Снежкова...

1885 г.

II. Статуя командора

Посетитель, которого капельдинер ввёл в «контору», был гладко выбритый, несколько подслеповатый старик, с какой-то растерянностью на морщинистом лице и светливой предупредительностью движений.

Иван Фёдорович Колокольцев, антрепренёр театра, высокий, неуклюжий господин с растрёпанной шевелюрой и длинной дряблой шеей, посмотрел на него несколько подозрительно.

— Три раза был у вас, Иван Фёдорович, — заговорил старик, — и не мог добиться у вас аудиенции. Между тем, имею до вас дело безотлагательной надобности.

Ивана Фёдоровича эта «безотлагательная надобность» по-видимому интересовала очень мало. Он небрежным жестом предложил гостю сесть на старый клеёнчатый стул, и сам сел тут же, у чёрного обтёртого стола, заменявшего в конторе бюро.

— Я ведь очень занят, — возразил он, выдвигая из стола ящик с бумагами, и шаря что-то по углам. — Вы господин Курепин, если не

ошибаюсь?

— Да-с.

— Вы не родственник актрисы Курепиной, что два года тому назад сторе́ла на сцене Бобльского театра?

— Я отец...

Иван Фёдорович поднял на него глаза; руки его перестали шарить. Что-то похожее на сочувствие загорелось в этом взгляде. Но оно тотчас же сменилось прежним холодным блеском. «Чёрт возьми, не на бедность ли пришёл просить», — невольно мелькнуло у него в голове.

— Я знал вашу дочь, — заговорил он, отгоняя от себя неприятную мысль о вспомоществовании. — Прекрасная была актриса, да и женщина прекрасная...

— Ах, что это было за существо! — невольно вырвалось у старика. — Нету, Иван Фёдорович, нету теперь таких...

— Она служила у меня, — продолжал Колокольцев, всё шаря в ящичке, — полтора сезона служила. Хорошая была актриса, чудесная. Не случись с ней этого несчастья, я всегда с удовольствием бы заключил с ней условие.

Он нашёл то, что по-видимому искал, какую-то бумажку, и помакнув ржавое перо в банку, заменявшую чернильницу, стал что-то царапать.

— Да, — говорил он, не открывая глаз от пера, — да, мы с нею друзья были, большие друзья. — У неё девочка была крохотная, — где же она теперь?

— Внучка со мною.

— А!.. И что же, скажите, оставила ваша дочь после себя что-нибудь?

— Пустяки-с. Деньгами рублей двести, — да вещами. Деньги ушли на внучку, а вещи я припрятал в надёжные руки — дал слово не трогать: вырастет внучка — тогда и получит.

— А-а, похвально, похвально...

Иван Фёдорович хвалил своего гостя полумашинально, потому что глаза всё-таки не открывались от клочка бумаги.

— Но вообще мы в ужасном положении, — продолжал Курепин. — И если вы действительно, как говорите, были другом покойной Нади...

«Так и есть, так и есть», — подумал Колокольцев, и брови его сморщились, а ржавое

перо ещё скорее запрыгало по бумаге.

— Помогите, Иван Фёдорович. Господь вас не оставит. На картофель и яйца денег нет. Девочка только и питается что чаем. Ведь растёт она, ей пища нужна питательная... Я ведь не денег у вас прошу, — быстро прибавил он, — а местечко хоть какое-нибудь, хоть плохенькое...

— Вы актёр разве? — удивился Колокольцев, и даже глаза на этот раз поднял.

— Как же-с, играть доводилось, и много играть. Теперь уж я лет десять не выходил на сцену... А прежде я далеко небезызвестен был.

— Вы что же играли-то?

— Играл-то любовников, потом комиков... А теперь — что прикажете...

— Мест у меня в труппе нет.

Иван Фёдорович вынул конверт, вложил в него записку, и начал надписывать.

— Хоть какое-нибудь, — повторил Курепин.

— На какое-нибудь вы не пойдёте. Вон мне плотник нужен: ведь вы этого дела делать не станете? Ну то-то вот и есть. Василий! — гром-

ко крикнул он, не вставая и не поворачивая головы.

На зов его вошёл тот самый капельдинер, что ввёл Курепина в контору, черноглазый мальчик лет четырнадцати.

— Эту записку снесёшь по адресу, — сказал Колокольцев, — да позови ко мне Евстафия Игнатъича, живо!

Мальчик хлопнул дверью. и за нею послышались его быстро удалявшиеся шаги.

— Так как же-с, Иван Фёдорович?

— Да так же-с. Что же я вам могу сделать, коли мест нет? Пришли бы месяцем раньше, когда я трупку набирал, ну, другое дело. А теперь у меня всё полно-с.

Курепин вздохнул, съёжился, и голова его так и ушла в вытертый воротник старого сюртука.

* * *

Пискливая дверь конторы опять отворилась и через порог перекатился маленький Евстафий Игнатъевич — режиссёр господина Колокольцева.

— Ну, что? — спросил его Колокольцев.

— Да что же, — отрезвится к вечеру. До

спектакля-то ещё четыре часа — почувствуется до тех пор.

— Я его штрафовать буду, — решительно заявил Иван Фёдорович. — Что это в самом деле, — ни одного дня покойного нет, — нельзя ни за один спектакль поручиться. Вы знаете Сморчкова? — обратился он к Курепину.

Тот встрепенулся, и сразу даже не понял, что его спрашивают.

— Как же, как же, — служили вместе. Он тоже вторым комиком был-с; не знаю как теперь, а прежде очень был не прыток.

— Теперь хуже: пьян ежедневно.

— Да и тогда было тоже-с... Мы с ним на одних ролях были,

Вдруг Колокольцев поднялся с места: очевидно, его осенила какая-то мысль. Он взял Евстафия Игнатьевича за пуговицу, и повёл его в угол.

— Слушайте, — сказал он, — вот этот (он кивнул на сидевшего у окна Курепина) просится на сцену. Сморчков человек нужный, но запивает. Если взять этого для острастки, может и Сморчков остепенится.

— Что ж, может быть, — согласился Евста-

фий Игнатъич.

— Ведь это приём известный. Не ест собака молока, — стоит подозвать кошку, — так она сейчас из жадности всё сожрёт, чтоб другим не досталось. Если на этот случай сего кавалера взять?

— Для устрашения?

— Именно для устрашения. Вы как на этот счёт?

— Можно. Приём достаточно хитрый.

— А вы сколько бы желали жалованья? — спросил Иван Фёдорович, подходя к посетителю.

Тот встал, сторбленный такой, жалкий.

— Да что положите, Иван Фёдорович.

Колокольцев ещё раз на него посмотрел. В глазах старика было что-то знакомое ему, — то самое, что некогда светилось в чудесных глазах дочери. Антрепренёру как-то жутко стало: «сгорела, сгорела на сцене, совсем, — брр...» Он повёл плечами.

— Мне некогда, — проговорил он, взяв с окна цилиндр, и придавая лицу ту значительность, которую он никогда не мог себе придать. — Вот Евстафий Игнатъич переговорит с

вами. Если ваши требования благоразумны, то вы придёте к соглашению. А теперь мне надо к полицеймейстеру на обед...

— Бог, Бог вас вознаградит, — захлёбывался старик, потрясая его руку...

Колокольцев не любил ничего такого чувствительного. Всю жизнь вращаясь в театре, он так разуверился во всех проявлениях аффектов, что когда кто пред ним плакал, он говорил:

— А нет — вы посмотрите, как моя примадонна плачет, — роскошь, удивление!

Но тут, сегодня, ему показалось, что может быть и искренно всхлипнул этот старик.

«Впрочем — коли жрать нечего, поневоле будешь всхлипывать, — решил он, — всегда натурально выйdet».

Даже сознание какого-то исполненного долга, чувство какого-то удовлетворения наполнило его, когда он, сходя с крыльца театра, стал натягивать перчатки.

— Да и этого скота, Сморчкова, надо проучить, — бормотал он, шагая по тротуару. — Он знает, что нужен — и потому negliжирует обязанностями. Посмотрю, как он запоёт, ко-

гда увидит дублёра. — Двух зайцев значит разом: с одной стороны — скота подтянешь, с другой — христианскую добродетель совершишь... Мило!

* * *

Евстафий Игнатъич предложил старику зайти в погребок и выпить пива — там и створиться.

— Влюблён, влюблён в вашу дочку был, — говорил он после третьего стакана. — Я тогда ещё суфлёром был. Всех она своим вниманием дарила, о всех помнила. Бывало всё жалованье раздаст. У меня до сих пор её подарочек — портсигар серебряный — после своего бенефиса она подарила. Доброты была несказанной.

Курепин отлично знал, что его Надя была несказанной доброты, и ему решительно не надо было этого напоминать и рассказывать. Но приходилось из вежливости слушать.

— А уж талант-то был, талант! Ей, — кабы в Петербург или Москву вовремя она попала — уж какая бы её судьба была!.. Скажите — ну, а как же несчастье это с нею произошло?

Он не любил вспоминать про «несчастье».

Ну что вспоминать? Охота переживать старое горе, старые затянутые раны ворошить. Но тут неловко было отказать.

— Да как произошло? Подошла на репетиции слишком близко к рампе, платье лёгкое — вспыхнуло; бросилась бежать — насилу поймали. Закидали её коврами, потушили, — да поздно уж было — грудь обгорела, и бока тоже. Через трое суток умерла.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — покачал головою режиссёр.

— И как она умирала, — ах как она умирала, кабы вы знали! Пела она. Понимаете: обожжённая-то вся, — в пузырях и в ранах! Лежит под голубым своим пологом и тонко-тонко. словно ребёнок, выводит нотки. Вот Офелию бы так играть. — А потом с девочкой, с дочкой прощалась. — «Ухожу, — говорит, — от тебя; свидимся ли — не знаю, да теперь-то мы расстаёмся...» Ну, и ушла. Ушла совсем. Всё была, всё была с нами — и смеялась, и веселилась, и вдруг нет.

Старик широко раскрыл свои вечно прищуренные глаза.

— И куда она, и где она — никому неведо-

мо. Положим, её зарыли в землю, это все видели. Но разве это та была? Это было уж совсем другое, — это остаток того живого, а не живое. И вот теперь, до сих пор я с этим так и не примирился, так и не понял...

— А как она «Василису» играла! Боже мой как играла, — вдруг почему-то сообразил режиссёр.

— Вот Лизута, внучка моя теперь — портрет её живой, — продолжал Курепин. — Боже-ство! Красота! Ею дышу, живу для неё. Чего бы мне, старому псу, на сцену-то поступать? Чтобы ей тепло было. Всё прожили, что прожить было можно. Ну и работать буду и работать.

— Вы в деньгах не нуждаетесь ли? — осторожно предложил Евстафий Игнатьевич.

— Натурально, — как же иначе и быть-то может, чтобы я не нуждался... Ни гроша в кармане.

Режиссёр порылся в портмоне и вытащил сложенную в восемь раз трёхрублёвую бумажку.

— У меня больше с собой нет. Вот пожалуй-ста.

В лицо Курепина кинулась краска; но это не было ни негодование, ни стыд, — это была неожиданность. У него даже в горле спазм сделался.

— Да, да, — заговорил он, для чего-то развернув её, словно хотел удостовериться — точно ли это деньги. — Ведь вы, ведь вы знаете, что вы сделали этим... ведь внученька... внученька сегодня горячего супца поест. Ведь она две недели ничего такого...

И старик уже не слушал Евстафия Игнатьевича. Он уже не мог сидеть на месте: он вертелся и оглядывался по сторонам.

— Горяченького, горяченького, — твердил он, и его бескровные губы улыбались такою блаженною улыбкой...

— Так насчёт условий стовориться бы? — начал было Евстафий Игнатьевич.

— Условий? Что хотите, то и положите. По совести; по сердцу. Ну какие условия? Увидите — чего достоин — то и положите. Не обидите несчастных, а? Ведь грех обижать...

* * *

Курепин поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж серенького покосившегося до-

ма. Он нёс под мышкой несколько свёрточков; из карманов рыжего пальто тоже глядели какие-то бумажки.

— Ну, как дела? — встретила его хозяйка возившаяся у печки. Иначе как через хозяйскую кухню ему нельзя было попасть к себе.

— Хорошо, хорошо, клюёт, Матрёна Васильевна!

— Ой ли? Значит и за квартиру скоро?

— Скоро, скоро! На службу поступаю.

Он радостно отворил дверь в свою голубенькую комнатку. И как всё там ясно и весело было! И кривые стулья, и диван подпёртый поленом и занавесочка у Лизиной кровати: всё это смеялось, ликовало, А сама Лиза сидела на полу и ковыряла иголкой какую-то тряпочку. Она весело посмотрела на него.

— Ну, деда, что? — крикнула она.

— Закутим, деточка, закутим с тобою. Смотри-ка, что я принёс.

Девочка бросила и тряпку, и иголку, и так быстро вскочила на ноженьки, что, потеряв равновесие, чуть не шлёпнулась па пол.

— Яичек, деда?

— И яичек, и говядинки и хлеба. Таких котлеток сделаем, что и царь таких не кушает.

Он положил свёрток на стол, и как был, в пальто, подхватил с пола внучку.

— Красавица ты моя, прелесть моя, боже-ство ты моё! Покушаешь ты сегодня в волю, милушка. Давно ты не кушала, как надо...

— Я хочу, деда, кушать, очень хочу...

— Знаю, знаю, внученька. Виноват я перед тобой, старый, виноват. Не умею работать, — не научен ничему такому. И рад бы вот всё для тебя сделать, — вот, коли хочешь, сердце готов вынуть, отдать тебе, только бы тебе хорошо было.

— Так котлетки будут, деда?..

— Будут, да ещё с картофелем. А картофель-то крупный такой, да рассыпчатый, да вкусный.

— Что же у тебя денежки есть?

— Денежки, голубчик мой, денежки. Служить буду, хорошо буду, усердно служить, — и всё для внученьки, для милой, для красавицы моей. Насколько сил будет — настолько буду стараться. И получим мы денежек много-много, и закутим мы с тобой, ой как заку-

тим! Каждый день у нас супец будет: горячий, наварный, вкусный.

Девочка недоверчиво на него посмотрела.

— Каждый день? — усомнилась она.

— Каждый день. И платице я сошью тебе новое, да не одно, а целых пять платьев — и ситцевых, и шерстяных, и всяких.

— Ты вот такое сделай, как у мамы, вот такое.

Она показывала пальчиком на портрет, что висел на стене — и так не шёл ко всему остальному убранству. В дорогой резной чёрной раме рисовалась прелестная головка. Губки улыбались такой светлой, сияющей улыбкой. В глазках было столько блеска, доброты, ласки. Платье на ней было открытое кружевное, с большим букетом цветов на плече. И до чего она была похожа на дочь!

— Деда, такое, такое платье, — лепетала внучка, проводя ладонью по стеклу. — Пожалуйста, чтобы было совсем этакое же.

— И такое сделаем, — согласился дед. — Эх, Лизуточка, хоть бы немножко, хоть вот капельку, самую каплюшечку улыбнулось бы нам счастье. Многим оно даётся, — а нас-то

вот с тобой и обошло...

— Разве мы такие гадкие, деда?..

— Ты-то хорошая, вот я, должно быть, гадкий.

— Нет, деда, ты хороший, ты чудесный, лучше тебя никого нет.

Девочка обвила его шею своею пухленькой ручонкой.

— Ну, о чём же ты плачешь, деда не надо плакать, не смей! Если будешь плакать, и я заплачу.

Он спустил внучку с рук, и смахнул наскоро слёзы

— И не плачу я, совсем не плачу, — весело заговорил он, — и не о чем мне плакать, когда у нас есть картофель и яйца, и всё, что угодно. Ведь повар-то я всамоделешный. Смотри-ка, как я тебе всё приготовлю, — пальчики оближешь...

Он сбросил пальто и быстро стал перебирать пакетики.

— А что тут есть! — лукаво заговорил он, развёртывая пакетик, на котором была бумага потоньше, — только это надо после котлеток.

— А что, что там?

— Там? Одним глазком только позволю взглянуть, — одним глазком только.

— Ну!

Она защурила один глаз и от этого бровь так смешно у неё наморщилась.

— Мармелад! — крикнула она, и захлопала в ладоши. — Деда, одну теперь, — всего только одну мармеладинку.

— А потом котлетку будешь кушать?

— Буду.

— Ну, так вот тебе две. А что за это надо сделать?

— Деда! Милый!

И девочка, подпрыгнув, повисла на шее старого деда.

* * *

Всю ночь не спал старик. Не мог — сна не было. А давно он не проводил такой чудесной ночи. Ночные тени пугали его. Всё эти стоны мерещились, и весь этот ужас. И потом мучила его мысль — ну что же с девочкой-то будет? Ну как он воспитает её — да и будет ли он в силах? Старый такой он стал, и ноги и руки плохо что-то слушаются, — и ревматизм

проклятый, и всё. Ну, да и жизнь-то впроголодь даёт себя знать. Да что он! Всё это вздор! Пожил на своём веку много, много видел. Жена была, — молодою ещё совсем потерял её. Потом дочку вырастил — красавицу, умницу, талантливую. Замуж выдал — зять умер. Думал всё же старость провести в покое: денег у дочери много, хозяйством заниматься времени ей нет, — а он это хорошо умеет. И так бы он век-то свой прожил чудесно, — и вдруг на-ка...

Он сидит теперь у кровати Лизуты. Спит она, щёчки розовые пышут. Пухленькая белая грудка открыта и колышется на ней от дыхания рубашонка.

— Эх, внученька, Лизуточка, — кабы мать была жива, не в этой бы толстой рубашонке ты ходила, а в батисте, да в шелку. Нигде бы твоё нежное тельце не тёрла эта дерюга. Привыкла ты, ничего иного и не знаешь. А всё я, старый, виноват, — ну не умею ничего делать, не умею...

Не по силам на него свалилась задача, совсем не по силам. Был бы молод — кажется в крючники бы на барку пошёл, только бы каж-

дый день копейки в дом приносить. А что же делать, как вся сила ушла на кутежи, Да всякую гадость. Ведь кабы знать, да ведать для чего силы-то хранить надо...

Вот спит Лизуточка. Счастлива, что мармеладу поела. Много ли для счастья-то ей надо! Ах, хоть бы так-то как теперь жизнь пошла, здоровья бы побольше, здоровья! А ну как он теперь заболит, да умрёт, — что тогда! На кого тогда эта розовенькая девочка останется, да что с ней будет!.. Ах, и думать-то не надо... От одной думы голова расколется хочет...

Ну, да вот теперь поддержка: жалованье будет. Ну, небольшое: ну сорок — даже тридцать рублей, — и то хлеб, да ещё какой хлеб-то! Много ли им нужно, много ли?..

И ночь сереть начинает, и сквозь коленкоровую шторку яснее и яснее проступает переплёт окна. Голубые волнующиеся лучи тихо вползают в комнату, смутно играя то там, то тут на неясно проступающих сквозь полумрак предметах. И гонят эти лучи ночные тени, и как-то светлее становится не только в комнате, но и на душе, и не текут так обильно слёзы по морщинистым щекам.

— Надя, Надя! — шепчет он перед портретом, — не могу я ничего больше сделать, — не в силах, — уж ты прости меня...

* * *

В десятом часу утра пришёл вчерашний мальчик из театра, и сказал, что Иван Фёдорович приказали беспременно явиться в одиннадцать часов на репетицию: вечером играть надо.

— Видите, видите! — говорил Пётр Кириллович хозяйке, — вот вам и служба моя началась, — вот уж и по начальству меня требуют.

Он кутил во всю. Утром у них был кофе со сливками и маслом. От трёх рублей осталось только семьдесят две копейки. Да ведь надо же разговеться внучке.

— Ты, деда, что же, — скоро придёшь? — говорила она подставляя свои щёчки для поцелуев.

— Скоро, милая, как удосужусь — так сейчас.

— Смотри — с мармеладом!

Он чуть не вприпрыжку побежал по улице. Морозец пощипывал, рыжее пальтишко грело скверно. Истопить потом надо дома, а

то Лизутка зазябнет.

Иван Фёдорович встретил его даже ласково. Руки обе пожал.

— Ну, вот, родной мой, спасибо за аккуратность, — спасибо, что вовремя пожаловали. Вот что, батенька: сыграйте-ка вы статую командора сегодня. У нас «Каменный гость», — и командора нет. Вы мужчина видный: хорошо у вас выйдет.

Курепин смутился немного.

— Стар я стал, Иван Фёдорович.

— Да ведь и командор не молоденький, родной мой.

— Так-то так — да пожалуй не выстою — шелохнусь, плохо дело будет!

— Ничего, потерпите: долго ли стоять-то. И голос у вас глухой, старческий: самое настоящее дело. Не упрямитесь для первого знакомства...

Если бы не это «первое знакомство» — он наверно отказался бы. Но теперь невозможно, неловко. Вдруг рассердится Иван Фёдорович, и от места откажет. Да и три рубля вперёд взято.

— Хорошо, Иван Фёдорович, — что же де-

лать — сыграю.

— Ну, и спасибо, — премного обязан, — сейчас мы и репетицию начнём.

Вокруг старика всё были незнакомые лица. Из прежних его сослуживцев никого не было: либо перемёрли, либо разъехались по столицам. Только один и был старый знакомец — Сморчков, вынырнувший в конце репетиции из-за кулисы.

— Эге, братец, и ты сюда примазался, — заговорил он, пожимая ему руку и склабясь так, что весь до половины беззубый рот был виден. Те-те-те, — ты не в мои ли соперники...

— Ну, милый, не великая честь твоим соперником-то быть, — ответил Курепин, ощущая невообразимый запах водки, которой насквозь был пропитан его собеседник. — Я тебе конкуренты нейду.

— Ну, это вы — ах оставьте: нутром чувствую, что здесь не без подвоха. Свинью мне подложить собрались...

Курепин покачал головою.

— И совсем-то ты таким же остался, каким был прежде: невозможным человеком, — всюду тебе козни мерещатся...

— Ты зубы-то не заговаривай, — меня, брат, не проведёшь — воробей стреляный. А ты лучше, подбру-поздорову проваливай отсюда. В одной берлоге нам не ужиться. Чего глаза-то выпучил? Слово тебе даю, что не жить тебе здесь.

— Ну, что мне с тобой разговаривать...

Курепин поворотился и хотел пойти, но Сморчков загородил дорогу.

— Ты думаешь, я забыл, как ты спустил меня со второго этажа из окна? Ты полагаешь, я забыл это? Нет, душенька, я всё это помню, отлично помню. И если прежде боялся твоих кулаков, так теперь тебя, старой рухляди, не боюсь. Теперь мой праздник!

Этот лысый, ехидно разинувший рот человек был теперь чудесной моделью. для дьявола, самого подлого дьявола, готового на всякую пакость.

— Пусти, — глухо заговорил Курепин. — Делай, что хочешь, я отсюда не уйду. Пусти, мне на сцену надо.

— А! Ты не уйдёшь, ты не уйдёшь! Ну, хорошо: иди на сцену, только долго ли ты пробудешь — посмотрим. Статуя командора! Ска-

жите, какая честь!.. Ну, посмотрим, посмотрим...

* * *

Вражда между ними была давнишняя. Началась она с того, что жена Сморчкова, когда её бил муж, убежала к Курепиным. В конце концов он довёл её до сумасшедшего дома. Курепин был старше его гораздо, и сильнее и крупнее. Ненавидел его Сморчков всеми силами души. Раз, выпивши, Курепин его предупредил:

— Слушай, Митька, — ты мне на глаза не попадайся, когда я не в своём виде. Я тебя побью ведь, ей-Богу, побью. Ты сам знаешь за что: за все твои подлости и мерзости. Ведь стоит тебя побить, право стоит. Я по-дружески тебя предупреждаю: ой, избегай меня!

Сморчков не остерёгся. — Пили как-то после спектакля, и много пили. Сморчков стал подсмеиваться над Курепиным: «поборник, мол, правды». Курепин взял его в охапку и выбросил из окна. Комик пролетел полторы сажени и сел прямо в бурьян, что рос возле дома. Дня четыре рука у него не поднималась, да нога всё забирала в сторону, — а потом

прошло. Но в голове его засела ненависть, самая чёрная ненависть к Курепину. Он иногда ночью спрыгивал с постели, когда слишком ясно перед ним восставала знакомая сцена: свечи, бутылки, прокуренный воздух, полупьяные лица; и вдруг всё это колесом вертится, миг один — и он в бурьяне, на него смотрит жёлтая луна, в кустах трещат стрекозы, а наверху из окна слышится смех, и шум, и говор...

Порою он представлял себя жестоким мстителем: кинжал, плащ, широкая шляпа и узкий переулок. Лужа крови и адский хохот, — непременно адский хохот. Были минуты, когда он действительно был бы не прочь на преступление. Зарезать, разорвать, задушить...

А теперь — теперь этого не надо. «Он» — бессильный, дряхлеющий старик. Где ему бороться! Теперь-то его и давить, и давить. Чувство мести с годами-то хоть и поуспокоилось, и никаких убийств уже и в голову-то ему не приходило, но прежнее ощущение, давнишнее желание удовлетворить обиду всё-таки осталось...

Это отлично понял Курепин. Он шёл домой обеспокоенный. Его не радовали семьдесят копеек, что бренчали на дне его широкого кармана. Он машинально купил орехов и изюму для внучки и пришёл к ней не такой, как вчера.

— Ну, что ты! Что с тобой! — лепетала она, тербя его ручонками за щёки. — Отчего ты вчера другой был?

Он смотрел прямо ей в глазки, в эти чудесные, чистые, милые глазки и такие смутные мысли волновали его:

«На кого ты, дьявол, покушаешься, на кого? — думал он. — На этого ангела, ребёнка милого, чудесного. — Да нет же, не дамся я, не дамся, нет, — я буду, я буду стоять на своём, ну что же, что он мне может сделать? Ничего! Ведь не отравит же он меня, а ко всем его подлостям я совсем равнодушно относиться буду».

И он старался успокоиться, он силился себе представить, что всё хорошо и благополучно. А между тем его руки дрожали, в голове путалось. Вместо радужных цветов всё стало сереньким, аппетита не было никакого.

Роль, — те несколько слов, что говорит командор, — заучивалась так туго. Его беспокоило именно, что это была статуя, что тут гораздо больше можно подвести актёру каверз, чем в любой живой роли. И сердце так сжималось, зубы стискивались, и даже на ласки Лизуты он не мог отвечать как всегда...

* * *

Весь вымазанный мелом, в картонном плаще, стоял он перед ржавым зеркалом и вглядывался в глупую фигуру. Белки глаз стали совсем красные, от контраста с белой штукатуркой щёк. Силы его окончательно оставляли. Колени тряслись, меч в руке ходуном ходил. И на сцене-то он давно не был, да и этот Сморчков...

А народу тьма-тьмущая — бенефис чей-то. За кулисами особенное бенефисное оживление. Плотники, и те словно поприветствовались. В уборных на столах водка и закуска. Сорокапятилетний дон Жуан, изрядно подвыпивший, мрачно смотрит в пространство, покручивая накладные усы. Пахнет жирными красками, лаком, пивом и табаком. Старый, давно ему знакомый запах...

У лесенки уборной встретился ему Сморчков.

— Хи-хи! — засмеялся он. — Позвольте поздравить с первым дебютом. Как-то вас публика вызывать будет...

Он ничего не ответил, а осторожно переступая, чтобы не продавить плаща, пошёл на сцену.

Его усадили на прочной тумбе. Он укрепился потвёрже и начал креститься.

— За Бога взялся! — слышится сзади иронический возглас комика.

Но он ничего не слышит. Он знает только, что там, в сереньком доме, сидит у столика с орехами и изюмом розовенькая девочка и рассказывает хозяйке: «Теперь деда в театре стоит и представляет статую...» У него теперь уж нет того клокотанья в груди, он будто и вправду окаменел.

«Скреплюсь, скреплюсь, — думает он. — Нельзя так жить. Я старый огарок, — нельзя же так догорать, гореть во всю, и день, и ночь, постоянно. На кого моя былиночка останется?..»

Суетня у его ног затихает, плотники разбе-

гаются по местам. Авансцена пустеет. Вот занавес поднимается, вздрагивая и неловко подбираясь.

Он чувствует своё глупое положение. Стоять всю картину для того, чтобы два раза кивнуть головой... Как будто нельзя было поставить куклу...

Но делать нечего, приходится стоять и слушать жаркое объяснение дон Жуана:

...Мне? мне молиться с вами, донна Анна...

«Эх, посмотрела бы теперь на меня Лизута. Выдержу, выдержу, не шелохнусь, небось...»

* * *

И чувствует он перед глазами какую-то сетку — не то пыль идёт сверху, не то другое что сыплется. Так, немножко, струйкой такой, и разобрать нельзя что такое...

А наверху, сидя на корточках, на колосниках, старается Сморчков. У него в руке табакерка. Он тихонько вынимает щепотку за щепоткой и «солит» сверху своего врага, стараясь сыпать ему перед самым носом. Маль-

чишка-плотник тут же улыбается во весь рот, с восторгом предвкушая результат такого манёвра.

— Шалишь, не выдержишь! — радостно бормочет Сморчков. — Табак особенный, для тебя специально на Дворянской улице покупал.

И он всё подбавляет щепотки. Теперь он ловко наметился, прямо в цель попадает.

Щекочет в переносье у старика. Чихнуть хочется, он сдерживается по мере сил, старается ртом дышать, но и в рот лезет этот проклятый табак, першит его, давит. Хорошо, что под толстым слоем мела не видно тех гримас, что творит он. «Лиза, Лизуточка, — да что же со мной делают, ну помоги, помоги мне старому, — ведь нельзя же так...»

Слава Богу — сцена подходит к концу, — вот Лепорелло стоит перед ним.

*...Мой барин, дон Жуан, вас про-
сит завтра
Придти попозже в дом супруги
вашей
И стать у двери...*

Курепин качнул головой. От этого движе-

ния всё погибло — удержаться нельзя было — и он чихнул.

Вся зала покатилась со смеху. Нельзя не смеяться, — ведь смешно: статуя чихает...

А сверху его кто-то поздравил:

— Брысь!

«Лизута, Лизута, — ну что же, всё погибло и выгонят меня, и выбросят отсюда... Всё-таки ты изюмцу поела...»

Но вот второй раз надо кивнуть. Уже не всё ли равно! И начал он чихать, чихать и чихать...

Под этот адский хохот опустили занавес. Дон Жуан с перекошенным лицом кинулся на него.

— Вы что, вы это что! — захрипел он, хватая его за грудь.

— Пусти! Прочь! — крикнул Курепин и вся прежняя сила снова проснулась в нём. Он отшвырнул трагика на сажень от себя и, шатаясь, пошёл к кулисам.

— Брысь, брысь! — захохотал на него из кустов Митька.

— А, ты здесь!

Он схватил его за горло, повалил, и сам

всею тяжестью навалился сверху, как был в картонном плаще и шлеме. Этот шлем скатился с его головы и обнаружил редкие, седые, крутившиеся колечками волоса.

К ним кинулись, их стали растаскивать. А за занавесом шёл тот же гам хохота и рукоплесканий. Кого-то вызывали, что-то кричали; — и было так смешно, и так бесконечно весело.

* * *

Опять те же ночные сумрачные тени, и опять возле убогой детской кроватки сидит старик. Он смотрит на разметавшуюся, сбросившую одеяло девочку, с розовыми губками, и слёзы текут по щекам, горькие, отчаянные слёзы.

«Опять нищенствовать, опять голодать? Впереди ничего, ничего! Блеснула надежда, блеснула на минуту — и опять беспросветная тьма. Принести разве углей, да на французский манер и покончить? И Лизуте... Ну зачем жить ей? Ведь завтра опять не будет ни орешков, ни изюмцу...»

А девочка словно чувствует, что недоброе что-то творится, — так и мечется по постели...

К утру он забылся. Он очнулся на стук в дверь. Он отодвинул задвижку. Перед ним стоял театральный мальчик.

— Иван Фёдорович на репетицию приказали к часу, — и вот велели передать.

Он подал несколько тетрадок.

— Потому господина Сморчкова выгнали, — это его роли...

— Мне?

Мальчик повернулся и ушёл. Старик долго стоял недвижно посреди комнаты, — потом опомнился и огляделся вокруг.

Было уже совсем светло. Ночные тени исчезли. Девочка спала по-прежнему сладко и безмятежно...

1886 г.

Мертвецы моря (Из путевых записок)

I

Это было в Константинополе. Я приехал туда с своим приятелем, немцем-архитектором, посланным академиею для усовершенствования. Что может быть ужаснее немца-архитектора! Он не признавал ни жара, ни лени, ни хорошенькой женщины. Он чуть не с первыми лучами солнца схватывал свой ящик с медовыми красками, и бежал куда-то вдаль по кривой улице. к немалому соблазну константинопольских собак. Возвращался он домой уже к вечеру, с вытянутою, усталою физиономиею, но совершенно довольный «мотивами», набросанными в альбом, в тот альбом, что мы вместе с ним, за месяц перед тем, покупали на Невском у Беггрова. Он был, кажется, очень доволен пребыванием на Босфоре, и ему не было ни малейшего дела до того, что между нами и Петербургом три тысячи вёрст. Он мечтал о том, как мы проберёмся в старые Афины и будем мерить колонны ка-

кого-то храма, по его мнению недостаточно тщательно вымеренного, хотя я уверен, что другие немцы, раньше его, исполнили это с самою аптекарскою добросовестностью. Он не пропускал ни одного момента для рисования, и мне кажется, что даже в седи, — том паланкине, что носится вместо извозчиков по улицам Константинополя, и который так походит на наши кузовки каруселей, скрипящих на Пасхе возле балаганов, — даже в этой седи, несмотря на то, что в ней качает как в ялике под пароходом, хотя носильщики-гамалы и силятся подражать иноходцам, — даже тут мой архитектор успевал что-то такое заметить через маленькие окна экипажа. Меня всегда тошнило от этого способа передвижения, а он чувствовал только разыгрывающийся аппетит, и пожирал обед с жадностью готтента.

Пока он рыскал вокруг Айя-Софии, я бесцельно блуждал по улицам, думая о том, нельзя ли проникнуть в какой-нибудь гарем, в который, очевидно, мужчины проникали не будучи евнухами, ибо едва ли парижские художники, наполняющие ежегодно *salon* га-

ремными жанрами, состояли при серале в этой компрометирующей каждого порядочно-го мужчину должности. Я покупал на базаре всякую дрянь, какие-то туфли, кружева, бусы, фески, кольца, которые должен был всенепременно доставить в Петербург разным тётушкам и кузинам, воображающим, что путешествуют специально для того, чтобы наводнить Петербург этим хламом. Вскоре мой сундук переполнился и стал походить на короб киевской жидовки, которая развозит по помещикам разное тряпье, уверяя, что оно контрабандою перешло прямо из Парижа к ней в руки. Наконец, всё это мне надоело донельзя. Солнце стало печь возмутительным образом, я буквально задыхался, и как рыба, вытасченная на берег, раскрывал и захлопывал рот, ругая своего приятеля самыми изысканными выражениями. А он суслил свои кисти и утешал:

— Погоди, приедем в Афины, ещё жарче будет.

Кончилось тем, что я, раздетый, целые дни лежал на диване и читал Эдгара По во французском переводе, которого мне любезно пре-

поднёс наш лакей. Когда я дошёл до пресловутого рассказа о спускающемся маятнике, мне показалось, что этот роковой инструмент — мой милый товарищ, и что если он не кончит своих вечных шатаний в Айя-Софию, то я умру от одного ожидания иного, более светлого будущего.

II

Нам прислуживал француз, хороший малый, но без правой руки. Сперва я думал, не прусская ли бомба так подшутила над ним. Но оказалось нечто совсем иное.

В промежутке между болезненным бредом Эдгара По и сном, я всегда разговаривал с этим чудесным провансальцем. Он хорошо говорил, толково и образно. Так редко кто говорит. Он повидал много кой-чего: плавал матросом, был поваром у консула, показывал на улице фокусы, собирался даже поступить в цирк, но его не приняли именно за его уродство, хотя он и обещал играть на скрипке на полном скаку лошади, да ещё прыгать через обручи. И несмотря на такое обилие талантов, он был всё-таки честнейший человек, и я убеждён, что он не украл бы двугривенного,

если бы его сделать кассиром какого угодно общества.

Он много рассказывал эпизодов из своей скитальческой жизни. Но когда раз я спросил у него, при каких обстоятельствах он лишился руки, брови его сдвинулись, глаза потухли, губы сжались, и даже с полных щёк сбежала краска.

— Я никогда об этом не говорю, — пояснил он, и сразу, очень круто повернул разговор в другую сторону.

Я мало заинтересовался его тайною. Ну, не всё ли мне равно, отчего он потерял руку! Не хочет говорить, и не надо. Ну, драма, так драма — и Бог с ним. Мало ли драм ежедневно творится на белом свете. И все они похожи друг на друга, и везде человеческое отчаяние одинаково, и кажется, пора бы уж привыкнуть к непрочности земной жизни, ни над чем не ахать, ничему не удивляться. Если Тюрбо не хотел сказать, значит имел причины.

И он продолжал мне передавать разные константинопольские сплетни, очень смешные и интересные, пересыпая рассказ чи-

сто-французским перцем. Он меня очень потешал и забавлял. Я, право, совсем подох бы от скуки без него...

Наконец, желанный день наступил. Мой приятель заявил, что завтра мы двигаемся в Грецию, и в последний раз бултыхнулся в свою седию. Тюрбо помогал мне укладывать весь скарб, и оказался, несмотря на отсутствие главного органа хватания, куда искуснее и расторопнее меня. Разговор опять перешёл на его ампутацию, и он, только что высказавший своё горе по поводу моего отъезда, вдруг решился стать со мною откровенным. И он мне сообщил то, о чём он не только никому не рассказывал, но даже не любил вспоминать, и гнал всякую мысль, всякое воспоминание об этом ужасном обстоятельстве.

III

— Шесть лет назад, — начал он, — я служил во французской мореходной компании, и одно время мне довелось всё вертеться около одного места — между Суэцем и Константинополем. Я на все руки, чего-чего я только не делал. Подолгу я никогда ничем не занимался, а всё как-то порывами, такова натура.

В то время я в водолазы пошёл. Начитался подводных путешествий, и потянуло меня на дно моря.

Вы, сударь, и представить не можете этого ощущения. Если бы не проклятые акулы, право, это было бы чуть ли не лучшею прогулкою, какую только можно выдумать. Это такая, доложу вам, декорация, какой никогда Парижу не выдумать, не поставить ни на какой сцене. И всё, что рисуют на этот счёт, поверьте, чепуха и вздор. А вот, если бы вы увидели этот густой зелёный слой воды и солнечные лучи, что бьют насквозь, так вы бы поняли, что это такое. И вы не думайте, что там темно! Какое! Светло как днём, ну, совсем, совсем светло вокруг вас метров на сто. И рыбы вокруг... А это уж совсем особенное ощущение! Угорь, такой беловатый вьюн, плывёт как ласточка, — вот когда она крылья распластает, не дрогнет ими, а её несёт куда-то. Потом вдруг вильнёт хвостом, и кверху, только и видели. Потом тригла: её еле из колпака взглядом поймашь, не только что словить чем, вот уж как птица-то мимо вас летает! А под ногами песок, чистый, яркий, гладкий,

как асфальт, и белый-белый. От него-то и свет под водою, отдаёт он солнечные лучи. А вокруг утёсы, и губки, и мхи какие-то, и раковины, и растения такие узкие, длиннолистые, с тонкими усиками, и усики шевелятся, и вокруг них кишат и крабы, и раки, и пауки, и всякая погань...

Ну, просто не ушёл бы. Движения совсем не такие, как здесь, на земле, и тяжесть всякая легче. А зато работать, я вам скажу: пять минут за два часа покажется. Потом, как на верх поднимут,дохнешь морским холодком, и спишь как убитый. Как пьяного качает, когда отвинтят этот шар, что на голову надет. Да это всё ничего. Всякое дело полюбить можно. Но только вот здесь, на этом Босфоре, нырять, — ну, нет, слуга покорный...

И опять у него лицо помертвело. Он отёр крупный холодный пот, выступивший на лбу, и голос его вдруг упал.

— Затонуло тут одно судно нашей компании. Небольшое, но дорогое, хорошее. Всех спасли, а зато машина и всё как есть пошло ко дну. Стали думать, нельзя ли вытащить как-нибудь. Первым делом следует осмотр-

реть, что и как. Сейчас меня за бока. Я готов. Глубина небольшая, вода чистая, дно тоже. Отчего же и не полюбопытствовать, дело привычное.

Собрался я нырять, а мне шутя и говорит юнга:

— Хоть бы спрут тебя напугал когда какой, а то лезешь ты на дно, точно на свидание к невесте.

Я ещё захохотал ему в ответ, спрашиваю:

— Что же, от тебя кланяться там?

Снарядили меня, перелез я через борт и нырнул под воду. Ждут, нет сигнала, стали тащить, тяжело что-то. Однако вытащили. Без чувств, как пласт лежу. Откупорили меня. В обмороке — и рука сломана. На дне ли сломал, или когда вытаскивали грех случился — неизвестно.

IV

Еле я пришёл в себя. Я не мог передать того, что увидел. Это было настолько ужасно, настолько невозможно, что я думал об этом как о горячечной галлюцинации. Самому больному воображению ничего такого не могло присниться. Я только мог повторять:

— Там, там... нет, не надо... не надо...

Пришлось отправить вместо меня другого, а меня свезли в лазарет. Но и тут, на койке, то же видение стояло предо мною, и я рвался и метался на койке.

Только не бред это был, не виденье. Это правда была. Тот, кто был там, под водою, после меня, видел то же. И тот, как ни был приготовлен ко всему, не выдержал, и с ужасом ринулся на поверхность. И ни один водолаз не мог осмотреть положения судна, потому что ни один не мог остаться в этом проклятом и Богом, и дьяволом месте.

Турбо тяжело перевёл дыханье.

— Вы только представьте. Когда я спустился на дно, метрах в десяти от затонувшего парохода, когда я повёл глазами, мне показалось, что вокруг растёт кустарник каких-то мягких кораллов, или чего-нибудь в этом роде. Ближайший размахивал медленно своими склизкими отростками, будто обнимал меня. Я взглянул на него внимательнее и прынул в сторону, как от удава.

Это был человек, или если не человек, то адское подобие его. Весь распухший, посине-

лый, с толстыми вздувшимися пальцами, он покачивался передо мною, скаля зубы. Он стоял совсем прямо, только слегка колыхался, надвигаясь на меня всё ближе, и ближе. И на щеке, возле уха, сидели два рака, жирных, чёрных, крепко впившись в него и слегка пошевеливая хвостами...

Я оторвал глаза от своего соседа, а рядом стоял другой, низенький, седенький совсем, толстый, полунагой, с оттопыренными налившимися белыми губами, и поднимал высоко свои коротенькие ручки, точно ловил мелкую рыбу, что беззаботно сновала мимо. Этот ещё быстрее двигался на меня.

А сзади, вокруг — нарастали новые и новые фигуры, бесформенные, студенистые. У иных густые косы, как волосатики, вились вокруг голов. Насколько хватал глаз, стояло это войско, эта армия мертвецов, и все они поднимали руки, и колыхались, и шли на меня...

Я думал, что брежу, я не мог ни двинуться, ни крикнуть, а они всё наступали, и кольцо их становилось всё теснее и теснее. Всё быстрее они колыхали руками, всё больше кивали головою, и серые, с открытыми глазами, ску-

чивались всё больше...

Наконец, они наплыли ко мне со всех сторон и обняли меня; тот слабый свет, что лился ко мне через маленькое стёклышко шлема, стал тускнеть, застилаться, всё стало мутным, в ушах раздался разом звон колоколов и бой молотов, и я упал на это тинистое дно, на какую-то студенистую массу, теряя сознание, чувствуя, что в меня вонзаются чьи-то зубы, что меня раздирают на части...

V

Я не знаю, отчего сломана моя рука. Зацепилась ли она за какой обломок, или другое что вывернуло её, — только доктора нашли нужным её отрезать. Но я не чувствовал ни докторов, ни боли, я видел опять их, и опять они протягивали ко мне свои руки...

Потом доктор осторожно объяснил мне, что это отнюдь не была галлюцинация. Наш пароход затонул в том месте, где обыкновенно свершалось правосудие: сюда кидали осуждённых на смерть. В прежнее время, говорят, это делалось в защитых мешках. Но и здесь прогресс — ведь Турция тоже европейское государство. Мешков жалко. Из них про-

сто вытряхивают несчастных жертв, и они идут с гирями на ногах ко дну, очищая путь кому-то другому, которого быть может не сегодня-завтра отправят сюда же...

Но количество этих трупов ужасно. Право, недурно было бы сюда спуститься европейскому конгрессу дипломатов в подводном колоколе, да посмотреть на конституционное государство. Ведь эти трупы — всё недавнее прошлое. Ведь раки находят их ещё вкусными, и так они там и стоят, и шевелят опухлыми руками...

И до сих пор ни один водолаз не полезет в этом месте в воду...

* * *

Когда на следующий день наш пароход двинулся в путь, разрезая острым носом спокойную влагу Босфора, меня не манила волшебная панорама берега. Все эти сады, мечети, киоски так обыкновенны, заурядны. Я смотрел сквозь лазурные прозрачные волны, и мне казалось, что мертвецы моря колышутся там внизу под нами, и поднимают с мольбою кверху свои руки. А мой товарищ с аппетитом ел бутерброды, запасливо изготовлен-

ные дома искусною рукою Тюрбо и перелистывал альбом, испещрённый очень интересными архитектурными мотивами, за которые его непременно должна была достойно увенчать академия.

Февраль 1887 г.

Обитель

— Вы извольте пожаловать в обитель, поэтому ворота после заката у нас запирают.

Я глянул на говорившего. Седенькая бородка распласталась веером поверх старой рясы, не то что порыжевшей, а как-то позеленевшей. Прищуренные глазки смотрят вяло, хотя конец носа задорен и тянется вверх. Чёрный клубук съехал несколько назад. Пухлые ручки с невычищенными ногтями покоятся на брюшке, раздутом скорее от постной трапезы, чем от невоздержания.

— Иначе чрез ограду лезть придётся, — продолжал он, — платье у вас городское — изъян причинить себе можете. В ограде есть кладбищенский садик, там посидите, коли желательно, на могилках.

— Красивое у вас место, батюшка: люблюсь.

Он тускло повёл глазами вокруг.

— Многие одобряют. Губернаторша Сенегалова у нас были, так они в бинокль долго на воду смотрели. Ночью на ту сторону ездили и

костёр раскладывали. Потом отца игумена очень благодарили. «Благодарю вас, — говорят, — за приятный ландшафт». Мы-то попригляделись, нас это не тешит... Ну, а как вам насчёт снеди? — внезапно прибавил он.

— Плохо. Есть совсем нельзя. Хорошо, что с собою прихватил, а то у вас здесь отощажешь.

— А вы какой суп хлебать изволили?

— Три супа подали; попробовал все, но есть не рискнул. Привычка к ним нужна, ба-тюшка.

— Повара плохи, — с соболезнаванием проговорил он, похлопывая себя по желудку. — Особливо вам, не провинциалам, а приезжим из Санкт-Петербурга, где столько соблазнов и развлечений по кулинарной части, как например рестораны или благородные и дворянские клубы... Опять же в иных монастырях у монахов имеются закуски, хотя бы и холодные: держат под полом, или в выдвигаемых подоконниках. У нас ничего такого нет. Ежели попадёт кому коробочка сардинок или килек, то разве жертвованная доброхотными дателями. У нас тихо, — затишье полное. Обуреваемы скорбями, и только.

— Скорбями?

— Да. Скорбей у инока много. Вам, светскому человеку, и не представить сколько.

— Какие же это скорби?

— Разные. Вот, например, сапоги.

— Ну? Что же это за скорбь?

— Вы вот в Санкт-Петербурге, коли у вас сапог износится, идёте в гостиный двор в лавочку, и кончено дело. А у нас! Сапожников в округе нет. Ждёшь, ждёшь, покуда придёт в обитель. В, прошлом годе жил здесь два месяца отставной унтер-офицер Никита Завёрткин. Прекраснейшим образом точал, и товар ставил соответствующий. Пришёл к Петрову дню. Я говорю: «Обувь нужна». А игумен говорит: «Есть тебя постарше, обождёшь». Сточал он игумену, сточал казначею. Я опять: «В подмётках, говорю, — просветы». — «Положить ему заклёпки временно!» К Ильину дню ещё три пары сшил послушникам, что при казначее, а я всё в заклёпках. Ах, Мать Честная! Спас прошёл, другой Спас — всем нашили. Обрадовался я, прихожу к Завёрткину: «Теперь, говорю, — моя чреда». «Да у меня, — говорит, — уж товара нет, и расчёт я получил, и

ухожу завтра!» Ну, как же не скорбь! Только к Покрову и соорудил обувь...

Он сердито запустил пальцы в бороду и стал почёсывать её с таким чувством, словно гребень уже несколько недель не прогуливался по ней.

— А монастырь, батюшка, у вас старый?

— Монастырь старый. Такой старый, что никто о нём ничего не помнит — забыли. Тут один учёный, года два назад, приезжал. Немолодой уж, в очках. «Я, — говорит, — по поручению высшего начальства, хочу историю вашего монастыря писать». Ему библиотекарь говорит: «Помилуйте, у нас никакой истории нет, и не было никогда». «Где, — говорит, — у вас документы?». И пошёл рыться. Всех мышей из библиотеки разогнал. Сердится: «Отчего вы, — говорит, — кошек не держите: все документы мышами поедены». А зачем нам кошки, когда эти мыши только в библиотеке и жили, а в кельях их и не было! Однако, настоятель наш сейчас же распорядился и послал за котятами в деревню. Теперь у нас, изволите видеть, их стадо целое, так как, по приказанию настоятеля, котят не топят, хотя

женский пол следовало бы удалять.

— Так историю обители и не написали?

— Нет, написали.

— Как же без документов?

— Да так, больше по догадкам. Обитель основана неизвестно когда и неизвестно кем, но надо полагать в глубокую древность. Документы, относящиеся к старине, неизвестно кем уничтожены, а древние постройки неизвестно кем перестроены.

— Что же, и напечатали эту историю?

— Напечатали с рисунками. Очень сердился учёный касательно перестроенек. У нас, извольте видеть, был целый ряд строителей, заменивших игуменов. И все они заботились о благолепии. Увидят старый иконостас, да и подговорят благодетеля жертву устроить: золотом его залепить. Иной купец обрадуется — всё золотом залепит. Потом старые стены замажут и новою живописью покроют. Уж этот учёный ковырял-ковырял тут стены-то. «Вы, — говорит, — разбойники: современною мазнёю древнюю иконопись закрыли»; а почём мы знаем, древняя иконопись хороша ли: вся почернела, только глаза маленечко и вид-

ны. Алтарь осматривал: «Эти, — говорит, — стены шестнадцатого или пятнадцатого века. А что у вас в подвалах?» А там настойку из разных трав производят с лекарственными целями. Лазарета у нас нет, а простуды на воде бывают особенно осенью. Отец библиотекарь сконфузился: «Там безынтересно, милостивый государь, лучше сходимте на колокольню, где громом монаха один раз убило: только что начал звонить к вечерни, раз ударил, вдруг молния блеснула, гром — и напал: только верёвка почернела». А тот рассердился: «Я хочу, — говорит, — не наверх, а вниз». Пошли. Отец библиотекарь хотел туловищем прикрыть бутылки, а тот заметил, кричит: «Это должно быть нынешнего столетия, надо исследовать». И потом каждый вечер так в подвале и сидел.

— А у вас строго насчёт наливок?

Он поглядел на меня испытующе.

— Как вам сказать... Ведь целебно действуют. Ежели умеренно, да с молитвою... Кто же говорит, если неумеренно, то это не резон. В прежнее время, при настоятеле Антонии, точно, бывал грех. Вон изволите видеть дере-

веньку по ту сторону озера. Туда иные переплывали вечером на гулянку, но гуляли тихо и мирно. Однако, один, некий Григорий, потонул. Вздумал на две версты расстояния вплавь — у челнока вёсла оказались убранными, ну и пошёл ко дну: разгорячён был, а вода холодная. Это чуть ли не единственный случай смерти. А вообще-то у нас в обители и не умирают.

— А как же?

— Переводят в другие монастыри, либо уходят в лечебницу в город. Строитель Антоний собирался было школу и больницу устроить — у него была страсть к строительству, да не вышло как-то, не разрешили.

— Отчего?

— Не разрешили-то? Да в сомнение впали. У нас монастырь в ту пору был, что твои арестантские роты: ссылали за провинности не токмо монашествующих, но и белое духовенство. Таких дьяконов и попов наслали на исправление, что не знали куда деваться; соблазн велик. Тут надо было бы глаз да глаз, да воля железная, а Антоний был строительством обуреваем и на всё сквозь пальцы

смотрел, — ну ему и говорят: «Хорошему ты детей обучишь, какая там школа; знай свои постройки, и кончено дело».

— И много он настроил?

— Страсть. Всё старое переломал. Этот самый учёный слышать о нём не мог. «Я бы, — говорит, — его в Берёзов на покаяние; он хуже Батяя: тот с завоевательными целями действовал, а этот с безрассудными». Антоний, точно, больше наломал, чем настроил; всё к архиерею писал, благословения просил на строение. Тот ему и пишет: «Сколько я тебе в год передаю благословений, а у тебя в монастыре всё больше мусора, чем построек». У нас окна в соборе были узенькие, малые, как на всех староновгородских постройках, а он широченные пробил — тройка проедет! Затеял баню строить, чтобы тридцать человек сразу могли мыться, и всё хотел липовый полк сделать, да нигде в окружности хорошей липы не нашёл, так баню и не достроил — перевели его. А новый игумен — Гермоген, тот не восхотел ничего оканчивать, превратил баню в амбар, а монастырские деньги пустил в обороты. Казну нашу он очень преумножил,

так как всех ссужал, ежели кто был человек верный. Ну, а потом его за это самое перевели. На полтора года прибыл к нам из-под Суздаля Тихон; этот только на одно пение обращал внимание, и очень запустил гостиницу; столько развелось клопов, что коли кто из помещиков побогаче едет, там накануне стены девка ошпарит и далматским порошком сплошь усыплет — тогда только и можно спать. И так удивительно: как Тихон ушёл от нас, так и клопы ушли.

— Ну, а нынешний игумен?

— Нынешний в монастыре не живёт: он обитает в двух верстах отсюда, на скотном дворе.

— Как так?

— Не могу вам доподлинно сказать, почему он не восхотел здесь жить. Там оно, точно, помещение богатое, привольное. Вот извольте посмотреть влево отсюда пригорок: там скотный двор и есть. Большою любовью игумен к сельскому хозяйству наделён. Таких коров завёл, что ахнешь только. Идёт — гора горою. Опять же куры. Мохнатые такие: словно в штанах по двору ходят. Потом голуби — на

подбор. Их гонять он очень любит. Скворцы у него чудесные. Огород какой, сад, кабы вы посмотрели! Каждой ягоды пудов по сто.

— Продаёте?

— Нет. Всё ему варенья варят. Уж не знаю, что он с ними делает: съесть нет никакой возможности. Вот ещё на днях из Санкт-Петербурга от торговой фирмы Штоль и Шмидт прислали пуд глицерина.

— Это зачем же?

— А он на глицерине варенье варит: сироп гуще и не засахаривается. Очень возможно, что тут, как говорят, кроется и коммерческое предприятие, но я склоняюсь к другому объяснению: бесконечное радушие и гостеприимство. У него ни один посетитель без баночки не уйдёт: хоть фунтовую, да вручит каждому. Благодичному, архиерею — всем он рассылает, даже в столицу отправляет. Там есть от нашего монастыря часовня, так при ней в подвале очень много варений сложено для благодетелей, которые вклады делают.

— Ну, а вообще дела как идут при этом игумене?

— Ничего, жаловаться грех. Свободно ста-

ло. Он только однажды в день сюда со скотного приезжает...

— Батюшка, запираю! — раздался сзади голос. Это отставной, усатый солдат, с огромным ключом в руках, затворял визжавшие на ржавых петлях ворота.

Мы встали со скамеечки. Вода померкла, дальний берег затянулся дымкою. Замок щёлкнул два раза. Старик запрятал куда-то ключ и перекрестился на все стороны.

Как небо глубоко и сине! Какая благоуханная, раздражающая прохлада, как широко она разлилась в ночном воздухе! И звёзды зажглись над головою: вот одна, другая, третья...

Август 1886

Из старых сказаний

Давно, давно это было. Всюду шумели девственные леса пальмы и бука, переплетённые цепями лиан. Бедные люди жались в гористых ущельях, поддерживая скудный огонь во тьме мрачных пещер. Тогда табуны диких коней носились по тучным пажитям невозделанных земель. Стихийные боги одни только и являлись человеку, грозно вставая из пены водопада, или из полымя разгорающегося костра. Их чуяли смутно младенческим духом люди в косматых одеждах, стройные, сильные, неустрашимые, трепетавшие только перед чёрным щитом луны, закрывающим солнце, и перед грозным перекатом грома в облачных высях, когда могучий тучегонитель полосовал своими огненными стрелами накалённый воздух.

Но там, на юге и на востоке, в горячих полуденных странах, где в бирюзовые реки смотрелись дивные деревья, где леса дымились опьяняющим благоуханием таинственных трав, где яркие птицы, как живые цветы, кружились и переливались в изумрудной ча-

це, там боги были милостивее к человеку, и он воспрянул духом, воспрянул — и покориł себе и птиц, и зверей и даже этих богов, испуганных неожиданною силою, тоже божественною, того маленького смелого существа, что в скорлупах переплывало моря, со дна его набирало жемчуг, и мчалось в бой на разукрашенных золотом слонах...

Не было там, на юге, богаче, счастливее, могучее одного царства, на много дней пути тянувшегося на восток. Едва путник вступал в его границы, как уже чувствовал он, в какую необычную страну пришлось ему зайти. На ступенях беломраморного храма. стоял жрец в белой одежде, опершись на высокий посох, и с тихою ласкою благословлял пришельца.

— Да благословят тебя боги! — говорил он, возлагая руки на его голову. — Если с чистым сердцем и безгрешным помыслом пришёл ты к нам, то пусть страна наша, как родная, примет тебя на своё лоно и напитает тебя тем млеком, что одно даёт и жизнь, и силу, и счастье.

И он подавал гостю маленькое полукруг-

лое блюдо с сухими покоробленными золотыми листочками. Гость бросал щепотку листьев на треугольный жертвенник, листья корбились ещё больше, и от них голубыми клубами поднимался тонкий дымок. Он окутывал гостя как облаком, и тот вдыхал его живительный аромат полною грудью. Глаза его расширялись, румянец сильнее вспыхивал на побелевших от усталости щеках, кровь живее струилась по жилам, а в груди что-то весело начинало и петь, и радостно плакать. Храм становился ещё праздничнее, красивее, выше. Лицо жреца становилось ещё добрее, а чёрные глаза его ещё более проникали в душу. На темени прищельца лежала его ладонь, и из неё струилась такая прохлада, такое умиротворяющее спокойствие, что, казалось, всей прежней жизни как бы не бываю, а есть одно радужное сияние, одно счастье, одна жизнь, вот здесь, в этой стране света и блеска.

* * *

И гость вступал со своим караваном, если то был купец, или один, если он был одинокий путник, — вступал с весельем в город через широкие ворота храма. Усталости как не

бывало. Жар, истома от пути, голод — всё это мгновенно прошло, от одной маленькой лепёшки, от какого-то шарика, что дал проглотить ему тот же жрец. Блестящими глазами смотрит он на серебристые фонтаны, на пурпурные ткани, распластавшиеся в воздухе над верандами, на колесницы с белыми конями, быстро несущиеся по широким площадям, на этот красивый, счастливый, спокойный народ, гордо, неторопливо идущий по улицам. И точно каждое лицо с полным самодовольством говорит: вот, смотрите, каковы мы, и нет в мире иной земли, нет в мире ничего лучшего, как здесь, у нас, в нашей благоденственной стране!

И говорят они пришельцу:

— Мы сильны и славны. Мы бесконечно сильны нашим единством, нашею любовью друг к другу. Мы любим всех людей, дома наши — дома наших гостей. Мы богаты — потому что нам ничего не надо. Мы ничего не ищем, потому что природа сама даёт нам всё, — а всё, что даётся нам — мы берём. Всё красиво у нас, божественно чудно. Это потому, что мы богов носим в себе; мы творим

только прекрасное, потому что ничего безобразного мы не признаём. Человек — это часть божества, как и весь мир — это только капля крови в огромном теле. Радуйся, путник, что божество привело тебя к нам, и если хочешь — входи сюда полноправным гражданином. Мы не народ, мы святое братство. Хочешь быть братом для нас, оставайся; не хочешь, — мы наполним вином твои меха, и ты уйдёшь с благословениями и пожеланиями доброго пути.

И почти всегда случайный путник оставался в счастливой стране, перевозил туда и жену, и детей. А если дела звали его неотступно на родину, то покончив их, он опять рвался всеми силами души в этот дивный, чудесный край.

* * *

Однажды, в ясное, прозрачное утро, пришёл туда путник. Он был пеший. Ни осла, ни верблюда не виделось за ним. Но усталости на лице его не было и следа. Он пришёл царственною, гибкою походкою, слегка опираясь на тонкое копьё. Белая, золототканая одежда его не была в пыли; и щит, и лук небрежно

были брошены за спину. Сандалии свежи и не стёрты. Чёрные кудри рассыпались по плечам, а глаза смотрели не то гордо, не то насмешливо. Он не был юноша, не похож был и на мужа. По алым губам его ползала полускрытая улыбка. Когда жрец простёр к нему руки с приветствием, в нём заметно было колебание: подойти или не подойти. Он подошёл, однако, и, склонился перед старцем, и листья бросил на жертвенник.

— Куда лежит путь твой? — спросил старец. — Не хочешь ли отдохнуть и пожить у нас?

— Нет, отец, не собираюсь, — ответил незнакомец. — А куда лежит путь мой, не всё ли тебе равно?

— Не всё равно. Я могу тебе быть в чём-нибудь полезным. У тебя нет коня, я тебе могу дать. Наш народ помогает пришельцам.

Незнакомец покачал головою.

— Я хочу свободы! Я не хочу никаких связей и обязательств. Ведь я, за ваши дары, должен быть вам благодарным? А я не хочу иметь никаких долгов. Я никому не должен ничего.

— Мы не нуждаемся в твоей благодарности, — укоризненно заметил жрец. — Мы хотим, чтобы все были счастливы и свободны.

— И ты стоишь здесь каждый день и благословляешь пришельцев? Эту обязанность наложило на тебя государство?

— Да, сын мой!

— Это рабство. Каждый день, едва розовая заря помчится по небу, ты уже здесь?

— Я служу свободе.

— Это рабство. Всякое служение — рабство.

— Ты играешь словами, пришлец!

— А ты чувствами, старик. Чем ты лучше раба, который обязан обжигать кирпичи? Он обожжёт их известное число в день, а ты известное число путников благословишь. Раб счастливее тебя. Его мускулы заняты, а ум свободен. Он берёт в руки глину, а сам летит мыслью за пределы мироздания. А ты — ты целый день не допускаешь в своём мозгу спокойного цветения мысли. В твою душу постоянно врываются посторонние образы. Можешь ли ты проникнуться силою творческой мечты? Нет. Ты утешаешься тем, что посвятил себя на высокое служение любви к лю-

дям. Нуждаются ли они в ней? Вот мне — мне не нужна твоя любовь. Любишь ли ты, нет ли — не всё ли мне равно? Солнце светит так же ясно, птицы поют также звонко, тигр так же свиреп, а собака так же ласкова. От твоей любви и ненависти мир не изменится. Что твои слова, что твои чувства?

* * *

У пропилей храма собралась толпа. И старцы, и юноши, и женщины ярким морем цветов переливались в этом живом потоке. Все слушали незнакомца. Он говорил так спокойно, всё с тою же полуулыбкою. Только голос его всё крепчал, и глаза порою вспыхивали презрительным, надменным пламенем.

— Зачем придаёте вы значение, — говорил он, — всяким словам, и дурным, и хорошим? Что такое слова?? Это звук, это потрясение воздуха. Не всё ли равно, те или иные звуки раздаются? Так же бесследно исчезнут они, как молния, как эти облака, что вон там несутся над нами. Где они будут завтра? Кто их вспомнит? Кто о них будет плакать? Зачем же вы плачете над словом, зачем вы смеётесь словам? Вы радуется, воздвигнув эти храмы,

но ведь этих храмов не будет, ведь и они сотрутся с лица земли, исчезнут, как и слова ваши, — только они несколько дольше слова продержатся. А что такое «дольше»? Не всё ли это равно? Для вас это ещё разница, а для божества, вмещающего весь мир, всё одно мгновенье.

Толпа молчала. Жрец поднял голову.

— Сын мой, — сказал он, — весь мир делится на две части: на хорошее и дурное, на прекрасное и гнусное, на свет и тьму. Мы дети света, мы стремимся к добру и ненавидим зло. Это так просто.

Незнакомец засмеялся.

— А кто вам сказал, что всё, что вы творите — добро? — проговорил он. — Может быть вы во тьме? Быть может вы заблуждаетесь жестоко? Быть может главное зло — ваша вера.

Ахнула в ужасе толпа. Взоры всех устремились к могучей статуе, восседавшей за алтарём. Она смотрела грозно, руки сжимали судорожно жезл, брови были сдвинуты и насулены.

— Боги сами пришли к нам, — заговорил жрец, — сами открылись нам в таинственных проявлениях всех стихий. Они царят над нами, покровительствуют нам. Мы им молимся, как молились наши отцы и деды.

— Они уйдут, — безжалостно продолжал незнакомец, — уйдут так же, как пришли. Они обратятся в ничто, в пыль и прах, как и ваши храмы, как и весь ваш город. Смотрите, какое ликование. Дым от душистых курений, цветы... Цветы к вечеру завянут, и их швырнут в огонь. Дым, о котором я говорил, где он? Его уже нет, это другие, новые клубы. — А! Вот, я вижу, несут через площадь покойника... Стройная, печальная музыка... Это вдова, должно быть, плачет? А когда её понесут так же, она не заплачет, а только черви в земле будут радоваться новой добыче. И музыка эта улетает в воздух бесследно. Будет время, здесь будут другие звуки... Вокруг будут лежать обломки, обломки — много всяких обломков. И голова вашего божества, что так сердито хмурится там, упадёт на землю с отбитою щекою... А по ним, среди раскалённой пыли, будут ходить шакалы, и выть, не находя добы-

чи. И змеи, шипя, поползут по лицу вашего божества, и страус будет ронять перья на обломанные жертвенники...

— Уходи, грозный пророк, — произнёс жрец. — Уходи скорее, не смущай нашего ликования.

— Я не пророк, — ответил пришелец, — я только говорю, что думаю, а думаю то, что подсказало мне божество...

— Демоны подсказали это тебе! — крикнул жрец. — И неужели наш могучий владыко неба не уничтожит тебя, дерзновенного? Смотри, как он воззрился на тебя. Смотри, сейчас дрогнет перун в его руке...

Толпа в ужасе отступила, но незнакомец улыбался, опираясь так же спокойно на копье.

— Он меня не уничтожит! — проговорил он.

* * *

— Уходи, — продолжал жрец. — Мы счастливы и свободны. Мы довольны жизнью и миром. Мы любим, и полны любовью.

— Вы несчастны! — возразил путник. — Я жалею вас. Я уйду, потому что не привык

жить в клетках. Я привык к простору и свободе. А есть ли у вас свобода духа, когда вы все прикованы к вашей вечной заботе о счастье? Вы в каждом шаге, в каждой мысли отдаёте себе отчёт. Вы воздвигаете дворцы и храмы, затрачиваете свою мысль на создание каких-то колонн и ступеней. Вы несчастны!

И он стал спускаться от жертвенника вниз, к толпе.

— Незнакомец, остановись! — раздалось за ним.

Он оглянулся. Жрец опять протягивал к нему руки, — чело его разгладилось.

— Возвратись! — говорил он. — Остаешься с нами. Выбери прекраснейшую из жён в подруги. Красота её очарует тебя, убаюкает тихим, счастливым сном. Женская любовь очистит тебя.

— Красота! — засмеялся путник. — Красота в природе. Море, от которого вы ушли в эти стены на много часов пути — вот красота. Лазурные небеса — вот красота. На них если набежит сумрак бури, так потом они кажутся ещё невиннее и чище. А женщина? Следы времени изглаживаются ли с её лица? Нет, те

борозды неизгладимы...

И он стал ещё быстрее спускаться вниз.

— Остановись, — звучало сзади его. — Куда ты идёшь? В пустыню! Человек могуч только сплочённою массою, одинокий он более жалок и беспомощен, чем любое животное... Примкни к людям!

Он уже сошёл на дорогу. Взгляды толпы сосредоточились на нём. Сколько тут было дивных, глубоких женских глаз, сверкавших огнём распалюющей страсти.

— Здесь скучно и душно, — пожав плечами сказал он, остановившись в последний раз. — Живите под покровительством ваших божеств, я вас не осуждаю. Любите друг друга, быть может это и лучше, чем ненавидеть. Но не будьте тиранами: не заставляйте всех подчиняться вашей любви.

* * *

Он пошёл тою же гибкою, свободною походкою, не оглядываясь, не ускоряя шаг. Золотою звездою горел на его спине щит и скользил перебегающими лучами по безмолвной толпе. В дымке яркого дня он долго был виден, пока, наконец, не пропал где-то вдали,

словно потонул в сизом тумане.

— Кто же это был перед нами? — с трепетом спросил жрец.

Ответа не было. Толпа будто окаменела. Только огромное изображение божества, с уходом незнакомца, словно съёжилось, потускло. Гнева не было и следа на грозном челе: что-то робкое, какое-то пугливое недоумение разлилось по всему изваянию.

И так это выражение навсегда и осталось на нём.

Тайна Юлия Фёдоровича (Страница из детских воспоминаний)

У Юлия Фёдоровича была тайна — это вне всякого сомнения. Нас, детей, было пятеро, и мы все отлично знали, что Юлий Фёдорович человек таинственный. Хотя он и не носил чёрного плаща со шпагою (что, по нашим понятиям, каждый человек, имевший адские откровения, должен был делать), но зато лицо его было положительно таинственно. Он был у нас гувернёром, очень милым и хорошим гувернёром, и мы его ужасно любили. Он был очень весёлый немец; несмотря на шестьдесят лет, он прыгал за нами по саду, как жеребёнок, зарывался в сено с головою и вылезал из копны на четвереньках, играл на гребёнке вальсы, сам танцевал, показывая, как танцуют в Риге, — ну, словом, общий был любимец. Но как только наступал четверг, он делался торжественно-серьёзным: он надевал, после утренних классов, чистые воротнички и рукавчики, приглаживал фиксау-

ром цыплячий пух, росший у него на затылке, брал в руки палку и исчезал до обеда. У него выговорено было это время, и никакая погода, никакая слякоть, никакой мороз не могли остановить его. Возвращался он необыкновенно весёлым, несколько краснее обыкновенного, начинал дурачиться и шалить напропалую, пускать необычайных величин змеев, устраивать торжественные шествия с фонарями, или учить кошку прыгать через обручи.

* * *

Куда он скрывался? Старая няня говорила, что он ходит к «своим немцам» в гости. Почему же он ходил так ненадолго, и главное — по будням, перед обедом. Ну, какие же немцы в будни, перед обедом, станут ходить друг к другу? И отчего он возвращается таким весёлым. Сестра моя Катя решила, что его кормят где-то молочной лапшой, которую он очень любит, от того он так и весел.

Порою мы спрашивали у тата, куда он ходит? Но её этот вопрос очень мало интересовал; она всегда отвечала:

— Да что нам за дело? Он человек свобод-

ный, куда хочет, туда и идёт.

Такое объяснение нас не удовлетворяло.

* * *

Наконец, однажды, старший брат Николай заявил нам, что он знает всё: тайна была проникнута.

Мы обступили его. в дальнем углу гостиной, дрожа от страха, ожидая открытия давно волновавшего нас обстоятельства.

— У Юлия Фёдоровича, — торжественно проговорил Николай, — есть погреб с деньгами, и он ходит их зарывать.

Мы так и онемели от этого открытия.

— Кто тебе сказал? Почему ты думаешь?

— Слушайте. Сегодня я подсмотрел сборы Юлия Фёдоровича. Он взял в портмоне десять рублей и лопату...

— Лопату, какую лопату?

— Нашу детскую, из-под лестницы. Он взял её очень осторожно, чтобы никто не видел, и назад поставил так же тихо. Я видел, как он незаметно нёс её под полою через площадь. Утром она была совсем чистая, блестящая, а теперь, — посмотрите.

Он повёл нас под лестницу и показал лопа-

ту. К ней была приставши свежая, рыхлая, чёрная земля; эту землю пахло в чулане очень сильно.

— Так он клад копит! — изумились мы.

— Клад! Я, когда он вернулся, нарочно посмотрел ему в кошелёк: там осталось только рубль двадцать копеек. А ведь он ничего не купил, ничего не принёс. Рубль двадцать копеек он оставил себе на табак, а остальное зарыл.

Сомнения у нас больше не было.

* * *

Но скоро нам пришлось разубедиться в этой гениальной догадке. Несмотря на самые тщательные наблюдения, мы не могли подметить, чтобы он когда-нибудь брал с собою лопатку: очевидно, это было только один раз. Хотя сестра Катя решила, что он копает землю просто руками, но это предположение отвергли единогласно, зная чистоплотность Юлия Фёдоровича и его на редкость выложенные ногти. Впрочем, раз он опять возбуждал в нас подозрение касательно копания, потому что мы заметили на его светлых панталонах большое земляное пятно, увидев кото-

рое он очень сконфузился и тотчас пошёл менять брюки. Отчего же это пятно? Это не уличная грязь, а настоящая земля, вот что бывает на грядках.

Необычайная весёлость Юлия Фёдоровича по четвергам приходила не сразу. Когда он возвращался, он входил, быстрою, неровною походкою и был сосредоточен. И только потом, побыв немного в своей комнатке, он уже выходил в шаловливом настроении.

Раз, возвратившись в обычный час и торопливо проходя в двери, он вдруг пошатнулся, да так, что пришлось ухватиться за косяк. Не успеет он ухватиться — он грянулся бы на пол. Постояв с минуту, он закрыл лицо, и совсем пошатываясь прошёл к себе.

— Да он пьёт! — радостно сообразил Коля. — Его шатает от наливки. Здесь он пить не смеет, и ходит в гостиницу. Вот куда и деньги идут.

— А земляные пятна на панталонах? — спросил я.

— А это он лежит на улице, пока его будочник не поднимет...

Сам Николай чувствовал, что он хватил че-

рез край. Никто не хотел верить, что Юлий Фёдорович пьёт.

— Однако, он по четвергам красный, — стоял на своём Николай.

— Так не в баню ли он ходит? — спросила Катя.

— С лопатою? — язвительно возразил я.

Катя была уничтожена.

* * *

Вдруг, однажды Николай, после того, как ушёл Юлий Фёдорович, влетел в детскую.

— За мною, скорее! — крикнул он.

Мы гурьбою кинулись. На комод в комнате Юлия Фёдоровича стоял предмет, которого мы никогда ранее не видали. Это была бархатная рамка, а в ней рисованный карандашом и слегка тронутый акварелью портрет какой-то девицы в локонах. С боку была надпись «Емма».

— Вот куда он ходит, — радостно говорил Николай, — к Эмме. Это его невеста.

— И он влюблён в неё, от того и красный такой, — подтвердила Катя.

— А лопата зачем же? — скептически спросил я.

— Фофан ты этакий, — отрезал Николай. — Это совпадение, и не больше.

Николай употреблял уже умные слова, так как принялся с весны за геометрию.

— Ну, что же, — решили мы в конце концов, — Юлий Фёдорович на ней женится, и это будет прекрасная партия.

* * *

Вечером в тот же день, когда Юлий Фёдорович клеил огромный детский театр и дурачился по обыкновению, Коля вдруг сказал:

— Юлий Фёдорович, правда, какое славное имя — Эмма?

Юлий Фёдорович выронил кисть, которою закрашивал предполагаемую занавес.

— Эмма, — повторил он, — Эмма?

Он встал, стряхнул с колен обрезки бумаг и заходил из угла в угол.

— Хорошее имя, — подтвердил он, потряхивая головою так, что очки начали спадать с носа.

— Каково, как влюблён! — радостно шептал нам Николай, следя за его нервно-двигающейся фигурой восторженным взглядом. — Ну, уж и подарок мы сделаем ему к свадьбе!

Но отчего так грустен Юлий Фёдорович, когда идёт к своей невесте? Отчего это невеста ждёт его только по четвергам? Отчего он в четверг рассказывает такие весёлые анекдоты по вечерам? И отчего у него в земле колена?

Я решил, что узнаю об этом во что бы то ни стало. Меня уж пускали одного ходить по улицам, и я решился выследить гувернёра.

В ближайший четверг, как всегда, он повязал свой чёрный галстук, прилизался фиксагуром, и вышел из подъезда. Я тихонько пошёл за ним, наблюдая расстояние, чтобы он меня не заметил. Но предосторожность эта была излишня. Он шёл, низко опустив голову под широкополым цилиндром, никого не видя, не замечая, погружённый в самого себя.

Шли мы скоро, но долго, шли на самую окраину. И дома хорошие стали реже, и улицы уже, и извозчики непригляднее. Вот и города конец, а мы всё идём, и Юлий Фёдорович идёт всё скорее.

Он завернул в кладбищенские ворота.

Мимо великолепных мавзолеев, не глядя по сторонам, шёл он давно знакомым путём всё вперёд и вперёд. Мавзолеи сменились крестами, скалами, плитами; кресты и плиты становились всё меньше и беднее. Пошли деревянные решётки и белые кресты. Вот одна могила — вся в цвету с венками иммортелей на кресте, с большою берёзою, шатром склонившеюся над нею. Юлий Фёдорович вошёл за решётку, сбросил на скамейку помятый цилиндр, и повалился на колени.

Он не молился и не плакал; складки шинели лежали неподвижно. Глаза были направлены на одну точку. Меня он не видел, хотя я стоял чуть не рядом с ним. Вокруг больше никого не было. Деревья шумели, да птицы чирикали вверху.

* * *

Он поднял голову.

— Вы зачем здесь? — изумлённо проговорил он, быстро поднимаясь

Я не мог говорить. Слезы сжимали горло.

— Юлий Фёдорович, — лепетал я, — вы не подумайте, не подумайте...

Он внимательно посмотрел мне в глаза.

— Вы хороший мальчик, — сказал он, фамильярно опуская мне на плечо руку. — Вы хороший мальчик. Зачем вы сюда попали?

— Я за вами шёл.

— Зачем?

— Мне хотелось знать куда вы ходите.

— Для чего же вам это знать?

— Я хотел объяснить себе, отчего вы бываете такой весёлый по четвергам.

— Отчего я такой весёлый? Ну, так вот смотрите сюда. Вот здесь под крестом лежит моя жена Эмма, которая умерла восемь лет назад. Я любил её больше всего в мире, и за это она отнята у меня. Восемь лет со дня её смерти, каждый четверг, в половине третьего я прихожу сюда, потому что она умерла в четверг, в половине третьего. И у меня сердце разрывается, когда я вспоминаю и представляю эху удивительную женщину. И я здесь плачу, на этих цветах, которые я сам посадил, и потом иду домой, и стараюсь быть особенно весёлым. Вы спросите, милый мальчик, отчего же именно я весел в этот день? Оттого именно я весел, что никому дела нет до моего горя.

— Мы вас так любим, — попробовал заметить я.

— О, у вас прекрасное семейство, и я глубоко ценю и уважаю ваших родителей, но, скажите пожалуйста, ну какое им дело, что у меня была жена — красавица Эмма, что я молился на неё, что она умерла, и похоронена здесь, а эти цветы растут и так хорошо пахнут? Ну, зачем бы я стал рассказывать вам всё это, что мне так дорого, а вам так малоинтересно. Я отлично знаю, что у вас никто не умер, и дай вам Бог жить как можно дольше, зачем же я буду говорить о смерти и смущать вас? Нет, я буду резов, как бабочка, и буду порхать с вами и хохотать, и веселиться.

* * *

Он поднял глаза к небу.

— Эмма знает, — сказал он, — что я так свято храню её память, что никогда никому не позволю до неё касаться. Эмма всё видит. Вы думаете, умерла она? Нет, я вижу её на этом голубом сияющем небе — она плывёт вон там светлым облачком. Это она, она — я наверно знаю. Ну, и зачем же я кому скажу, что по четвергам прихожу сюда беседовать с

нею? Мне скажут, что я сумасшедший, и прогонят из дома, а я нищий, и жить мне нечем.

Он посмотрел на продавленный цилиндр и надел его на голову.

— Я три года у вас, и три года никто не знал, что я еженедельно плачу здесь. И мне весело было, что никто не знает моего горя, и что я один его знаю. Теперь вы узнали. Мне это неприятно. Я люблю вас, но мне неприятно, что вы знаете, зачем и куда я уйду по четвергам. И я больше не могу у вас быть...

* * *

И он, действительно, ушёл от нас через полмесяца. Он не любил, чтобы проникали в его тайны.

1887

Ораторы

I

В большом южном городе X., в сороковых годах, главою местной епархии был один известный проповедник, личность глубоко образованная и почтенная. До сих пор во всех хрестоматиях можно встретить образцы его проповедей, как идеалы красноречия в своём роде. Говорил он всегда чрезвычайно убедительно, иногда сжато, и даже слишком сжато, но обладал неотразимою силой ораторства, и впечатление всегда и на всех производил изумительное.

Владыка очень заботился о своей епархии, и по возможности силился насаждать духовное образование и среди пастырей, и среди пасомого стада. Но с этой стороны его деятельность не всегда приносила соответствующие плоды. Даже более того: владыку постигала постоянная неудача на этом поприще. В конце концов он сильно разочаровался в своих начинаниях.

Вот о главном-то его разочаровании я и хочу теперь порассказать, тем более, что исто-

рия эта полузабыта, и её вспоминают разве несколько старожилов, узнавших о ней случайно: и в своё-то время она огласки не получила.

Преосвященный на сельскую паству давно махнул рукой: уж очень туго поддавались хохлы его культуре. Затеял он было по сёлам воскресные беседы: чтение евангелия с объяснениями. Ничего как есть не вышло. На одну беседу сам приехал. Хутор богатый, казаки всё умные.

— Туго, владыко, туго! — предупреждает поп.

— Бери книгу, читай им. Увидим, как туго.

— Откуда начать, владыко?

— С начала — так, по порядку.

Развернул поп евангелие. От Матфея, глава первая. — «Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова... Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова».

Поморщился владыка: «Эк, не догадался поп со второй главы начать».

Вся хата полна, слушают чубы внимательно... «Озия же роди Иоафама»...

— Ну, зато понятно для них: никаких тон-

костей нет: родословная на что уж яснее: все поймут.

«... Иехония роди Салафиила. Салафиил же роди Зоровавеля»...

Вдруг из угла восклицание:

— От-то чудо, то чудо!

Оглянулся преосвященный, — седой чуб в углу изумление высокое на лице выразил.

— Постой, отче Василий, — комментарии потребны. Поди сюда, старче. — Ты чему же так удивился?

— Да как же не чудо?

— Салафиил роди Зоровавеля?

— Чудо! Соловій — така маленька птичка, а журавель-то якій!

Краска в лицо кинулась владыке.

— Продолжай, — говорит попу.

Потом, безо всяких комментариев, уехал и никаких подтверждений воскресных бесед по епархии не рассылал. Решил он обратить лучше внимание на пастырей. Ну, и обратил.

II

Рассуждал он так: выходит поп из семинарии, обучен всяким наукам — и богословию, и риторике, и логике, и догматике, и элоквен-

ции. Всё это у него в голове свежо и ясно. Достанет он место, поженится, народит детишек, засядет на свою пасеку и на баштан, правит службы, правит требы; а риторика и элоквенция, с позволения сказать, чуть не под постелью лежат. Жалко! Знание гибнет.

А и то сказать: ну, чего развивать эту самую элоквенцию пред бабами да мужиками? Им проповедь нужна простая, несложная, с отсутствием витийства. Нельзя же им хрии и синекдохи подводить, — всё одно — ушами будут хлопать. Как же быть?

И пришла владыке в голову мысль блистательная: Если послать предписание такое, чтобы все попы, не достигшие пятидесятилетнего возраста, прибывали по очереди к нам в город и произносили проповеди в моём присутствии по воскресеньям в соборе? Во-первых — определится этими речами степень развития каждого из попов, и я ознакомлюсь с ними, каждого узнаю; а во-вторых, — и они-то плесневеть не будут: нет, нет да и подтянутся. — Порядок простой. Получил от меня за два дня тему — ну и развивай её как умеешь. Ведь не семинария: не высекут тебя, ко-

ли ты плох. Ну, а коли хорош — жди благодать.

Очень понравилась преосвященному эта идея. Губернаторша её одобрила чрезвычайно:

— Вы, — говорит, — представить не можете, каким жаргоном в иных местечках священники произносят слово. Вот близ нашего хутора, отец Тихон живёт, так он всегда начинает так: «а послушайте, миряне, что я вам скажу»... Ужас, ужас!

Весть о замыслах владыки как громом поразила весь округ. Духовенство вконец растерялось. Положим, что преосвященный пользовался славой человека гуманного и обходительного, — но ведь Бог его ведаёт, как он. К красноречию отнесётся. Первый оратор в России, — ведь это не шутка! Губернатор, все власти, всё соберётся слушать, как сельский поп в соборе начнёт поучать паству. Ведь это что же! — Многие иереи захворали не на шутку. Они согласились бы какую угодно болезнь вынести, поститься год, в Киев пешком сходить, по тысяче поклонов в день отбивать, только бы не ехать на этот страшный суд ве-

ликого оратора...

А ведь надо ехать, как ослушаться! Уж при-
слано распределение, кому и когда явиться.

Первый жребий пал на попа Мартына, ко-
торый двенадцать лет в губернском городе не
был, кроме благочинного и из начальства-то
никого не видал. Ходил себе по хуторку в бе-
лом подряснике, вышитом попадьёй по рука-
вам и подолу петухами и ёлочками (причём
он уверял, что это птицы райские и древо
жизни), постукивал своим посохом по ульям,
надев предварительно сетку и рукавчики, —
пчёлы почему-то жалили его немилосердно;
гнал наливки чудеснейшие: вишнёвка такая
у него была, что ни один заседатель не мог
проехать мимо его домика, чтобы не завер-
нуть выкурить трубочку. Попадья у него была
красивая, толстошеяя, на груди монисто. Сви-
ньи жирные, индейки ещё того жирнее, кони
крепкие. Наслаждался поп идиллией, и вдруг
такое несчастье на голову!

III

Горько плакала попадья, да и сам он обли-
вался горячими слезами, выезжая из своего
заветного уголка. Он словно навеки прощался

со своими подсолнечниками, вербами и вишнями. Словно на казнь вели его, на казнь неминуемую, без помилования.

Остановился он у своей родственницы, вдовы протоиерея, попадьи зажиточной, умной. Выслушала она его стенания, да и говорит:

— А ты не кисни, — Бог милостив. Иди к владыке сейчас же, — ещё до воскресенья три дня. Утро-то вечера мудренее, — может что и надумаем. Отстой вечерню, да и отправляйся к преосвященному. Там видно будет.

Завздохал Мартын, пошёл к вечерне. Приютился в тёмном уголке, чтобы никто его не видел, и почти всю службу на коленях простоял. Плачет, просит помощи свыше.

Владыка в саду его принял: он обычный моцион пред ужином делал. Ходит по дорожке, увидел попа, благословил, осмотрел и опять зашагал. Мартын идёт на шаг от него отставши, шляпу в руках вертит, каждое слово уловить старается.

— Если ты по элоквенции хорош был, как твой аттестат утверждает, то должен ты мне развить тему интересную, посмотрю, как-то

ты справишься.

— Боюсь, владыко, надежд не оправдать.

— А ты не бойся. Главное подойди к предмету просто, и в то же время насколько можно разукрась эту простоту силою речи. Вот тебе тема. — «О нравственном состоянии прародителей до грехопадения».

Чувствует поп Мартын, как душа его уходит в пятки, в голове всё путается, в виски бьёт...

— Поле обширное. Можешь разобрать нравственную и божественную сторону души нашей.

— Боюсь, владыко.

Владыка ногою даже топнул.

— Затвердила сорока Якова... Я не спрашиваю тебя — боишься ты, или нет. В семинарии ректор тебя не спрашивал, а драл по субботам, коли не так.

Отец Мартын вдруг бух в ноги.

— Пощади, владыко, — пятеро детей, мал мала меньше.

Преосвященный усмехнулся.

— Чего ты мне как Богу земные поклоны творишь? Ты лучше времени не теряй, сшей

тетрадку, пёрышко очини, да и углубись в созерцание нравственной природы прародителей. Помолись усерднее, — простых рыбарей Господь просвещал, не токмо иереев. Встань, встань, нечего ползать.

Шатаясь вышел он из садика; как добрёл до дому, — и сам не помнит. Всё в глазах помутилось: пропали детки малые, пропали!

У попадьи уж за чай все сели. Самовар кипит, уходит. Сальные свечи так весело горят; у всех лица довольные, а Мартын и слова сказать не может. Видит, уставился на него какой-то юнец, — лет двадцати-двух, не больше, с усиками, — в первый раз видит он его.

— А позвольте узнать, какую тему задал преосвященный?

Мартын и говорить не хотел: ну на кой прах знать этому вертуну, какая тема? Только себя раздражать! Однако всё же сказал.

— Так-с. Тема чудесная. Развить её можно отлично.

«Ещё смеётся, шельма», — думает поп. А тот, хоть бы что, продолжает:

— Ежели такую мысль провести. Все животные одарены разумом, как и человек. Они

строят себе жилище, изыскивают корм, рожают детей, но делают всё это по инстинкту. Человек же одарён способностью помимо этого творить, творить нечто новое, в природе до него не существовавшее. Он создаёт музыку, живопись, храмы, статуи, — пишет книги. Он творец: он может мысль, мелькнувшую в уме, облечь в действительную форму, — отсюда божественное подобие человека...

Мартын даже рот раскрыл от изумления.

— Ну-с, ну?

— Тут можно нарисовать картину современных изобретений: телеграф, применение пара, — словом, картину божественного творческого начала человеческого духа...

— Ну-с, а как же тут прародители-то?

— Прародители? — молодой человек запнулся. — Ну, можно к ним свести. Видите: они сорвали плод познания добра и зла, и, по словам змия, стали как боги. Они познали зло, но в то же время получили и знание творчества. Питаясь же древом жизни, до грехопадения они были нравственно чисты, но лишены творческого начала...

У Мартына всё вертелось в мозгу... После

чая он заперся с молодым человеком в своей комнате.

IV

А уж как проповедь удалась! Правда, — читал поп Мартын по тетрадке, но достаточно смело и уверенно. Губернаторша, губернатор, владыка — все были чрезвычайно довольны. Губернаторша еле удержалась от аплодисментов. Преосвященный облобызал Мартына трижды.

— Не думал, говорит, чтобы у меня в епархии были такие светлые головы. Ты и за наукой следишь, и тетрадки школьные не забыл. Одобрю, одобряю.

А уж поп от радости не понимает ничего. Кинулся на шею к Николаю Фёдоровичу, тому студенту, что у его родственницы детей обучал, да и говорит:

— По гроб жизни обязан вам, почтеннейший, — вынули из петли.

— За что же, — отвечает тот, — благодарите, отец Мартын: я вам за те же двадцать-пять рублей и в следующий раз напишу, коли нужда встретится.

— Прямо к вам тогда, прямо. Только черёд

теперь мой не скоро...

Накупил Мартын жене и детишкам го-
стинцев на все наличные деньги, и тронулся
восвояси.

Но Николаю Фёдоровичу недолго при-
шлось ждать писания новой проповеди, а все-
го дня три. Скрипнула к нему дверь, является
попик тощенький, гнусливый, с поклонами.

— Наслышал, якобы вы моему предше-
ственнику помогли, — отец родной, не отка-
жите. Я ту же сумму с превеликою благодар-
ностью...

Николай Фёдорович и отнекиваться не
стал. Покрутил ус и спрашивает:

— А тема какая?

— О бесплодной смоковнице.

— Можно.

— Отец родной, — всех нас благодетель-
ствуете. И впредь к вам все повалят, — так
гуськом и пойдут. Вы человек современный,
учёный, а мы отсталые... Опять же вам... в
сотню рублей вознаграждение ежемесячное...
невредно...

— Хорошо, хорошо... Завтра к утру приго-
товлю. Вы зайдите, батюшка, заняться надо

будет с вами, подготовить дикцию и прочее... Владыка останется доволен, поверьте...

V

Да, владыка был доволен, — целые полгода доволен был. — Его изумили начитанность и блестящий ум представителей его епархии.

— Бесконечные сокровища таятся в недрах России, — не раз размышлял он. — Кто бы мог подумать, чтобы простое сельское духовенство, и на такой высоте знания. Случайный ли то подбор, или превосходное преподавание местной семинарии? Вопрос очень затруднительный для разрешения.

А оказалось, что вопрос решался чрезвычайно просто.

Месяцев через семь после первой проповеди, прибыл в X. какой-то дальний священник, и но общей проторенной тропинке направился к Николаю Фёдоровичу. — Скуповат ли он был, приход ли у него был бедный, только он упёрся на пятнадцать рублях, больше не даёт. Николай Фёдорович был навеселе — пирушка у него шла с товарищами; посадил он попа за стол, затянули «Gaudeamus».

— Так не дашь, батька, больше?

— Не могу, Николай Фёдорович, — видит Бог не могу. Вы коротенькую напишите, только сильную.

— Сильную? Ладно. Приходи завтра.

Вот собрались все в собор, — праздник большой. Проповедь дана на текст «Воздадите кесарю».

Вышел поп, начинает. Прислушался преосвященный. Что такое он говорит? Неясно мысли вяжет, всё периоды, периоды, а подлежащее и сказуемое словно ускользает. Чем дальше, тем туманнее. Владыка уже сожалеть начинает, что рукописи заранее не просмотрел.

И вдруг перемена: периоды пропадают, речь краткая, выразительная, да ещё какая! Такие слова и выражения начинает он подта совывать, что преосвященный не знает, куда деваться. Посматривает на губернатора, тот к нему.

— Это что же, говорит, такое?

Кое-как дослушал владыка «слово», да и поманил попа в алтарь.

— Ты что, что ты читал? Несчастный!

— Я...

— Ты!.. Ведь тебя в Сибирь за это!.. Ведь на каторге тебе места нет! Откуда ты со всеми западными идеями познакомился? Что у тебя за библиотека? Какие цитаты ты приводишь?.. Да я тебя!..

Тот в ноги.

— Не я, владыко, не я... Николая Фёдорович это...

— Какой Николай Фёдорович?

— Он постоянно пишет...

Всё объяснилось. Поражён был преосвященный глубоко, в самое сердце.

Он слышал о Николае Фёдоровиче, что тот стихи писал, и смешные аттестаты выдумывал, якобы выданные студюзусам семинарии по окончании курса. И стихи, и аттестаты ходили в рукописях по городу. Пожелал знаменитый проповедник с ним познакомиться.

— Талант, государь мой, в вас талант, — вам бы пастырем быть, — далеко бы пошли.

— Не чувствую себя способным на подвиг духовный, — говорит Николай Фёдорович.

— А жестоко вы со мною поступили. Столько времени держали в заблуждении... Я-то

хвалился, и недоумевал. Положим, замечал я порою некоторое однообразие в изложении, но и в голову мне не приходило...

Махнул с этих пор преосвященный и на развитие духовенства. — А Николай Фёдорович, скажу в заключение, сделался весьма известным русским поэтом, и стихотворения его можно найти во всех хрестоматиях — наравне с нашим владыкой его считают образцовым...

Теперь они оба давно умерли, — да и история только что рассказанная почти всеми забыта. Но всё же о ней кое-кто помнит, да ученики в классах изучают произведения обоих моих героев.

В трясине болотной

I

В тёплую, светлую июньскую ночь, на огромном балконе Палкинского трактира, том балконе, что выходит прямо на Невский и, держась на чугунных столбах, нависает над широким тротуаром, за небольшим круглым столиком сидело два господина: один — красивый дородный мужчина лет пятидесяти, с грудой седых трёпанных волос и роскошною бородой; другой — гораздо его моложе, немного подслеповатый, бледный, с жидкою бородёнкой, в золотом пенсне, плохо державшемся на носу. Первого звали Адриан Фёдорович Ракитин; он был когда-то далеко небезызвестен в литературном мире, но теперь уже лет восемь, десять не писал, и о нём почти забывали. Другой — был редактор одного из петербургских журналов, Виктор Алексеевич Веркутов.

Они только что приехали с железной дороги: были на открытии загородного театра. Ракитин очень мало знал Веркутова. Но в театре кресла их пришлось случайно рядом. По-

сле второго антракта они разговорились, сели после спектакля в одно купе и приехали наконец сюда ужинать. Как это часто бывает при первой встрече людей из пишущего круга, разговор принял хотя и самые узкие рамки, но тем не менее не обрывался ни на минуту. Цензурный комитет, редакционные сплетни, газетные перебранки, всё это, выплывая одно за другим, давало темы. Ещё в вагоне беседа их приняла этот характер, и дачник-немец (вероятно со Святой забравшийся в свою летнюю резиденцию) с большим любопытством настораживал уши, когда в разговоре выпрыгивало какое-нибудь известное литературное или административное имя. Впрочем, говорил по преимуществу редактор, выслеживавший тонким нюхом натасканного сеттера всю дичь, носившуюся в журнальной атмосфере. В вагоне он ещё несколько сдерживался, но тут, когда он попал в эту привычную обстановку фрачных лакеев, щёлкавших пробок и ароматического пара всяких яств, речь его полилась потоком...

— Вы говорите, — энергично возражал он совершенно спокойно курившему Ракитину,

который ничего не говорил, — вы говорите: читать! Да разве я могу прочесть всю труху что каждый день приходит из провинции? Рву и швыряю в корзинку, не читая! Я наверно знаю, что перлов там нет и быть не может... Если же из сотни мелочишек я одну сносную заимствую, так разве она вознаграждает меня за то потерянное время, пока я читал девяносто девять бумажонок годных только для корзинки?.. Таланты в провинции! Скажите!.. Да с чего им быть там? Вы скажите, ну скажите: кой чёрт занесёт талант в Чебоксары или в Конотоп? Совсем не та почва!..

Он выпучил глаза и ужасно посмотрел через очки на собеседника, словно вызывая его на какое-нибудь утвердительное или поощрительное междометие. Но Ракитин рассеянно взглянул на него и уставился опять на шершавый затылок какого-то чахоточного господина, евшего за соседним столом пожарские котлеты. Он так давно отстал ото всей этой сутолоки журнального мира, что она вообще его не интересовала. Он думал о чём-то совсем другом, и если не хотел прервать клоко-

чущего потока речей Веркутова, то должно быть из лени: его утомил и гром поезда. и оркестр, и толпа, и пение.

— Все так делают, все! — кипятился тот. — Покойный Некрасов моею собственною, моею собственною рукописью форточку затыкал, да-с! А уж если он так делал, нам и Бог велел. Да что мы, наконец, каторжные что ли? Ведь если нам читать, перечитывать да отвечать на все письма, — министерство придётся целое учреждать при каждой редакции. Надо, батенька, знать как дело поставлено, а потом обвинять нас. А надувальства, мошенничества, выдавание чужих произведений за свои? Ну что тут говорить о провинции, когда своих собственных, постоянных сотрудников опасешься: продадут, подлецы, за грош... Ведь это всё шушера такая...

— Зачем же вы их принимаете? — спросил Ракитин, пуская клубы дыма и продолжая смотреть мимо.

Веркутов развёл руками.

— Люди с дарованием, батенька, — они нужны! Всё это голь, рады примазаться ко всякой дряни в клубе, чтобы их ужином на-

кормили, да две, три бутылочки поставили. А как его к себе не пустишь, когда у него всегда целый короб новейших скандалов! И он живёт этим, и я живу; он меня кормит, а за это я его кормлю. Это водовозные клячи: без них нельзя жить, и ездить на них надо, и бить для острастки, и прикармливать...

Ракитин на этот раз поднял на него глаза.

— Как «бить»?

Веркутов точно несколько сконфузился.

— Вы не подумайте, Адриан Фёдорович, что я принадлежу к числу тех... что я их когда-нибудь... Но ведь каждый из них непременно битый. Кто-нибудь, когда-нибудь да побил их... Я уж удостоверяю вас в этом, как ответственный редактор...

Господин за соседним столом сердито постучал ножом по стакану и, сердито глядя на подбегавшего и согнувшегося «человека», ещё более сердито спросил себе чаю с лимоном. «С лимоном» он сказал так строго и так сдвинув брови, что лакей даже споткнулся, опрометью бросившись к двери.

— Ведь этой шушеры в прежнее ваше время не бывало, — продолжал ответственный

редактор. — Она завелась вот за последнее время при развитии журналистики. Это совсем новые типы. Многие из них, особенно из поэтов, чёрт знает, что такое: не то неудавшийся актёр, не то подмастерье фотографа... Я их к себе в кабинет и не пускаю. Расписывается там у секретаря, получает деньги... Ведь кто их разберёт, может и стащит что-нибудь... хоть журнал или книжку... словно по ошибке пальто своё переменит: у него на беличьем меху, а он бобровую, да енотовую шубу тащит, чтобы хотя день в порядочном платье походить...

— Послушайте, а как её фамилия? — внешне спросил Ракитин.

— Чья? — несколько опешил редактор.

— Этой певицы, сегодняшней дебютантки?

— А-а!.. Эрде.

— Она немка?

— Чисто русская. Её фамилия просто Дементьева, а зовут Раисой. Инициалы её Р. Д., ну и вышел псевдоним Эрде.

— Вы, кажется, знаете её.

— Знаю, она зимой в зале Кононова пела.

— Она незамужняя?

— Нет, девочка совсем. Она с отцом живёт. Тёмненькая личность, какой-то отставной учитель танцевания.

— Она премилая. В глазах огонёк, жизнь...

— Эге! — прищёлкнул языком редактор, — вы ещё не утомонились... Хотите познакомлю? Выпьемте только ещё джинджеру.

Ракитин как-то неопределённо потрянул волосами. Веркутов подозвал лакея и велел налить ещё по рюмке. Тот осторожно наклонил белый кувшинчик с пёстрой этикеткой и стал цедить густую, как масло, золотистую жидкость. Ракитин давно не пил и чувствовал, что выпил много. Окружающие предметы как-то странно рябили в глазах, ощущение от сигары было какое-то новое, на улице колёса шумели тоже совсем по новому, не так как всегда, даже у редактора лицо сделалось совсем другое.

— Серьёзно: она вас интересует? — спросил Веркутов.

— Да, — ответил Ракитин, прямо смотря ему в глаза, — и даже очень...

— Вы не женаты?

— К чему этот вопрос?

— Если вздумаете ухаживать, так поосторожнее: отец как раз женит, это такая шельма.

— Да я ухаживать не намерен.

— Ну и ладно!.. А знаете с этим джинджером хорошо бы миндального пирожного, а? Человек, миндального пирожного, живо!

Тот сверкнул фалдочками, звякнул балконною дверью и торопливо пробежал к буфету. Шершавый господин встал из-за стола, грозно кивнул головой лакею и направился было к выходу, да вдруг заметил Веркутова. Лицо его мгновенно ослабилось и от глаз во все стороны пошли сборки, точно с боков носа у него были стягивающие тесёмки. Он подошёл и протянул редактору руку.

— Трапезуете? — спросил он, радостно хихикая.

— Трапезую, — ответил Веркутов, даже не привстав.

— Верно с открытия?

— С открытия.

Тот собрал сборки, хихикнул, шлёпнул редактора по плечу, помялся на месте, посмотрел на Ракитина, внезапно вытащил из кар-

мана часы с дыркой на верхней доске, посмотрел на них, забеспокоился и стал прощаться.

— Вот вам тоже сотрудник и вдобавок фельетонист в одной большой газете, — проговорил Веркутов, когда тот скрылся за дверью. — Смотрите какой общипанный, а между тем как все его боятся, как за ним ухаживают! Ездил он на открытие волжского моста корреспондентом, так ему чуть ни отдельный поезд на железных дорогах отводили. Боятся ужасно всяких обличений... Не выношу этих пошлостей! Я сам всегда еду по железным дорогам инкогнито.

Он это сказал так просто и искренне, как мог сказать разве император, путешествующий под чужим именем.

— И знаете что смешно, — продолжал он, — ведь он тщательно скрывает, что работает в моём издании. Больше того, если вы со стороны начнёте выспрашивать; а что, мол, вы работаете у Веркутова, он трижды отречётся от меня. А вот деньги берёт, не отрекается.

Ракитин погасил докуренную сигару. Ему

лень было встать с места и в то же время хотелось поскорее добраться до постели. Если бы можно было лечь вот здесь на балконе, на открытом воздухе, он бы с радостью это сделал и тотчас же заснул бы в этом утреннем холодке под грохот катившихся экипажей.

— Когда же вы меня с ней познакомите? — спросил он, пересиливая дремоту.

— Да если хотите, завтра.

— Завтра? Где?

— Она будет у меня.

Ракитин поморщился. Но то чтоб ему не хотелось зайти к Веркутову, а просто ему не нравилась мысль: с какой стати милая розовая девочка поедет к этому козлу, что сидит тут, смакуя ликёр и тряся бородёнкой?

— Она обещала быть у вас?

— Да. Отец хотел её прислать, благодарить меня.

— За что?

— За то, что был на дебюте, обещал похвалить её.

— Да за что же тут благодарить?

Веркутов пожал плечами.

— Так всегда делается; эту моду они взяли

с французских актрис, которые всегда благодарят рецензентов. Это глупо, но до известной степени располагает к актрисе.

— Даже к плохой?

— Даже к плохой. Ну, обойдёшь её в рецензии, скажешь вообще об исполнении; разве уж ошибаются если со скандалом, так заметишь, что артистка местами провела роль неровно... Нельзя, батенька, в нашем журнальном механизме так всё одно за другое и цепляется: друг без друга не проживёшь.

— В котором же часу к вам заходить?

— Приходите к завтраку. Может быть и она подспеет к этому времени. Там и познакомитесь. Только, повторяю, ухаживать не советую.

Ракитин встал, подошёл к перилам балкона, перегнулся и посмотрел влево, вдоль улицы. Вытянутый словно по струнке Невский замирал пред утром. Недвижимые фиолетовые громады домов знакомою перспективой убегали на северо-запад, туда, к этому розовому фону неба, на котором призрачным силуэтом рисовался тонкий шпиль Адмиралтейства. Даже городовые ушли с перекрёстка Ли-

тейной и Владимирской — спать куда-нибудь на тумбу под ворота.

— Не пора ли? — спросил он своего собеседника.

— Да пожалуй пора, — согласился тот и велел подать счёт. — Вы не находите, что джинджер отрезвляет? — спросил Веркутов.

— Не нахожу, — ответил Ракитин, чувствуя, что язык поворачивается далеко не с такою свободой, как всегда.

— Положительно отрезвляет, — подтвердил Веркутов и взял по ошибке, вместо своей, его шляпу, но тотчас же заметил и переменился.

II

Когда Ракитин, раздевшись, лёг в постель и закрыл глаза, перед ним вдруг выступила опять загородная сцена, с красными подборами занавесей и пёстрою обстановкой. В ушах опять раздался мотив оперетки и с таким ясным, отчётливым пиликаньем скрипок и густыми хрюканьями контрабаса. Опять запел наяранный, освещённый рампой хор, и опять она, как живая, явилась пред ним.

Это была девушка лет восемнадцати, с но-

сиком слегка вздёрнутым, бледненькая, с чёрными роскошными волосами и глазками, как угли сверкавшими из-под бровей. Она так просто, мило, немножко робея, вышла в своём блестящем костюме. Ей начали аплодировать. Особенно хлопал из боковой ложи слева какой-то моряк в белой фуражке, он даже за барьер перегибался. Она слегка улыбалась и кланялась, да не головой, а как дети всем корпусом, и это удивительно мило выходило. Потом она запела. Голосок у неё был звонкий, плохо поставленный, но сильный. Она брала больше манерой и наивностью. Когда она, окончив, перешла на разговорную речь, вышло ещё милее. Она так непринуждённо, так просто и так грациозно говорила, точно она не первый день была на подмостках, а всю свою жизнь так болтала, в этой мишуре, с подведёнными бровями. В ней было что-то свежее, непочатое. Ракитин смотрел на неё и чувствовал, что ему на душу веет весной, такую мягкою, душистою. Самые далёкие, забытые впечатления вдруг поднялись откуда-то и светлыми тенями заносились вокруг него... Только зачем она завтра поедет в эту пошлую

редакционную труппу? Какое отношение может иметь эта миленькая, маленькая девочка к площадной печати? Неужели и она должна гнуться, подличать пред ней?

Эти мысли его возмущали. Нервное сердцебиение мешало ему спать. Он повёртывался, качаясь в металлической сетке своей кровати. В голове всё путалось. Соображения, что он завтра её увидит, очень утешали его, хотя он положительно не мог понять, зачем ему, отживающему и седому, нужно это знакомство.

Он заснул на каком-то очень важном соображении, каком — он совершенно забыл, проснувшись на другой день. Но он одевался с радостным сознанием, что сегодня будет что-то хорошее, серенькая полоса жизни прервётся чем-то новым, и это новое наступит, когда он увидит маленькую розовую девочку. Он машинально выпил кофе, машинально прочёл все газеты, что нашлись в газетном ящике между дверей: и также машинально вышел на улицу.

Редакция помещалась неподалёку от него. Конторщик, молодой человек, предложил ему

раздеться в прихожей и не без любопытства проследил процесс снятия пальто без посторонней помощи.

— Там никого нет? — спросил Ракитин, кивая головой на дверь.

— Аеров там, — ответил конторщик, хотя Ракитин не знал никакого Аерова.

— А туда можно? — спросил он.

— Можно, туда всех пускают.

Он вошёл в редакционную комнату, обставленную быть может несколько роскошно для редакции, с большим аквариумом у окна, люстрой и коврами. У письменного стола рыночной работы сидел Веркутов, против него помещался кудлатый господин в клетчатом шарфе и нечищенных сапогах. Веркутов вскочил с места и скорчил обрадованное лицо:

— Ну вот! — сказал он. — Исполнили обещание.

Он посмотрел Ракитину прямо в глаза, и глаза его говорили: «А актриса-то тебя щипнула; небось я не знаю, что ты не для меня сюда приехал...»

— Садитесь, — предложил он, указывая на кресло и садясь на свой стул пред столом.

Ракитин вопросительно глянул на гостя: кто б это мог быть — метранпаж из типографии или сотрудник?

— Это господин Аеров, — помог его недомению Веркутов, — один из тех талантливых сотрудников, о которых я вам вчера так много говорил.

Аеров протянул руку с чернильным пятном на указательном пальце и пошаркал ногами под стулом.

— Один из самых талантливых наших сотрудников, — повторил редактор, и лёгкая доза насмешечки зазвучала в его тоне, — пишет прекрасные стихи — на все случаи. Банк лопнет, адвокат проврётся, пьесу ошикают, уж он на другой день и несёт стишки.

«Талантливый сотрудник» строго посмотрел на него и попросил папироску.

— Вчера пришла телеграмма, что на Гнилошпальной дороге поезд погиб; из пассажиров уцелел между прочим директор правления этой дороги. У Аерова сегодня уж и готово, послушайте как мило:

*Поезд с насыпи свалился,
Кучи, груды мёртвых тел!*

*Лишь директор ухитрился,
Уцелеть один сумел...
И провал без сожаленья
Поглотил честной народ...
Ах, директоров правленья
И провал-то не берёт!..*

— Не правда ли, мило?

Ракитин похвалил.

— У вас Талалаев был? — внезапно спросил Аеров.

— Нет, да я его не знаю.

— Ну так приедет.

— Зачем?

Аеров мрачно стряхнул пепел.

— Он всюду ездит с палкой... бить хочет.

— Кого?

— Редакторов.

Веркутов как-то повёл плечами.

— За что?

— На него пасквиль готовится... то есть не пасквиль... Что-то про него, биографию что ли, печатают... про него и его жену...

Аеров замигал и стал затягиваться...

— Да не тяните вы за душу, — торопил его редактор.

— Он не знает, где «это» появится... ну и ездит теперь по всем редакциям просить, чтобы не печатали...

Веркутов вдруг покотился со смеху и даже по ляжкам себя от удовольствия захлопал.

— Каковы нравы, друг Горацио? — обратился он к Ракитину.

— Кое-где редакторы действуют успешно, — продолжал Аеров тем же невозмутимым тоном.

Веркутов сразу стих, задумался и потёр лоб.

— Хорошо, что вы мне сказали, — сквозь зубы проговорил он, и сощурившись посмотрел на него, — вы не хотите ли черкнуть слова два? — прибавил он.

Аеров ткнул папиросу в пепельницу, быстро встал и словно про себя сказал: «Потом сочтёмся»...

— Пройдите в контору, там спросите бумаги и чернил. — вместо ответа сказал Веркутов. — Отца родного жиду заложит и под квитанцию денег займёт, — прибавил он, когда дверь за Аеровым затворилась.

— Какой это Талалаев? — любопытство-

вал Ракитин.

— Бывший конногвардеец, теперь в отставке, известный богач.

— Так за что же на него пасквиль?

— Богат! — решил Веркутов и, позвонив в колокольчик, осведомился, подан ли завтрак. — Пойдёмте заморить червячка, как раз время.

III

Собственник того издания, где Веркутов состоял редактором, Блюменфест, был в это время с семейством за границей, и без него Веркутов распоряжался как дома, обедая и завтракая в задних комнатах, непосредственно прилегавших к конторе. Небольшой круглый столик был покрыт поверх джутовой скатерти салфеткой с горчичными пятнами. По стенам висели какие-то голые дамы в самых отчаянных ракурсах и с невозможными лядвеями. В углу крякал попугай в огромной клетке. На кронштейнах обнимались нимфы и сатиры. Ракитин отказался от водки, сказав, что он до обеда не пьёт никогда.

— Ну рябиновой, — серьёзно тряся головой предложил редактор, — или оранж-амер? Ну,

хотя нюи?..

Он налил ему стакан бургонского и принялся за цыплёнка.

— Должно быть барышня сейчас придет, — сказал он. — Она сегодня все редакции объезжает. Такое появление своего рода праздник. Хорошенькая женщина в журнальном департаменте — это ужасная аномалия...

Он с ожесточением перегрызал кости, так что попугай каждый раз вздрагивал и однажды даже присвистнул.

— Вы кажется не совсем ясно поняли, что мы говорили о Талалаеве? — спросил Веркутов. — Очень просто: дурак этот ездит по редакциям, потому что над ним подшутил какой-нибудь приятель, написал ему анонимное письмо: вот, мол, тебя обличать хотят. Понятно, он готов тысячу заплатить, чтобы только не напечатали. Глядишь, рублишек триста и в кармане.

— Зачем же ему ездить по разным конторам, если уж он в одном месте заплатил и успокоился?

— А кто ему поручится, что редактор не передаст статейку в другой орган?

— Да ведь это омут какой-то! — невольно вырвалось у Ракитина.

— Омут, — спокойно подтвердил Веркутов, наливая себе нюи и держа бутылку двумя пальцами, чтобы не запачкать горлышко маслом. — Эх, батенька, наша рыночная пресса, ведь это не толстый журнал... Дневи довлеет злоба его...

«Гонорар хочешь?» — ни с того ни с сего спросил попугай и, подумав, прибавил: «миленький, почеси головку, ну, ну поскорей!»

— Вы от нас отстали, проживая за границей, а вы поплавайте в нашей тине. Чукчи, батенька, чукчи. Уж кажется их-то бы, людей печатного слова и должен бы свет коснуться, а между тем...

Из-за двери выглянул конторщик.

— Спрашивают вас, — проговорил он, протягивая карточку.

Веркутов глянул на билетик, и лицо его просияло.

— Просите, просите, — крикнул он. — Я двери настезь растворю, любуйтесь, — сказал он Ракитину, — это Талалаев.

«Кто б это мог быть!» — протяжно и задум-

чиво заметил попка.

Талалаев был розоватый, пухлый, добродушнейший человек, с круглым, как маленькая картофелина носиком и заплывшими жиром глазками. Ему было очень жарко, и он пыхтел как паровик.

— Вы редактор? Я по делу очень важному и серьёзному, — заговорил он так скоро, что все три фразы сумел сказать как-то одновременно...

— Присядьте, — ответил Веркутов, и сел так, что Талалаев остался совсем на виду у Ракитина, в отворённую дверь.

Талалаев вытер платком мокрое лицо и закачался всем корпусом на диване.

— Вы знаете меня? — внезапно спросил он.

— Слышал-с...

— Ну, так вот я... — он запнулся, — Вдруг говорят, что вы... то есть не вы. а вообще... будто хотите про меня и жену печатать... про мою жену... печатать.

— То есть что же именно?

Талалаев несколько затруднился, подыскивая выражение. Он покраснел ещё больше. Пот крупными смородинами усеял его лицо.

— Да вообще... Что вот я... жена... и больше ничего.

— Извольте видеть, господин Талалаев, — заговорил мягким, ласкающим голосом Веркутов, — мы если печатаем про кого-нибудь, так не иначе как про людей действительно выдающихся из общего уровня посредственности, про людей так сказать талантливых или хоть чем-нибудь себя заявивших... А ведь согласитесь сами: ни вы, ни ваша супруга...

— Да, да! — обрадовался Талалаев, — я то же говорил! Я говорю: «Мы с тобой, Катя, что же!» она не верит, говорит: «Непременно напечатают — всё! как мы прежде, как мы теперь, всё»... И у меня источники есть, и даже достоверные, что именно вы хотите это напечатать...

— Какие же у вас данные?

— Да уж есть.

Талалаев очевидно врал: никаких данных у него не было, он говорил на удачу.

— Голубчик, не печатайте... Если нужно: я всё что нам угодно... ну... я... я...

«Гонорар хочешь?» — крикнул попугай, и так громко что Талалаев даже спросил:

— Кто это?..

Веркутов вдруг понизил голос до полушёпота и придвинулся близко-близко к Талалаеву.

Ракитин только руками развёл и ещё раз повторил:

— Чукчи, чукчи!

Разговор продолжался довольно долго. Попугай раз пять предлагал почесать у него голову. На улице звонили колокольчики трамвая, солнце тёплыми золотыми лучами било через окно на паркет, зацепляя по дороге угол зелёного бархатного стула. Ракитину было как-то не по себе, — да ему всё это время как-то не по себе чувствовалось. Какая-то неуверенность в чём-то, отсутствие почвы под ногами. Он совсем забросил службу, на которую, впрочем, и без того он являлся очень редко; так противно тянулся строго-систематический день, всё надоело: и обеды в ресторанах, и обеды у знакомых. Он хотел ехать за границу, да лень ему было, да и не зачем: всё им в Европе давно видано и перевидано. Ему хотелось каких-нибудь новых, неизведанных впечатлений, и негде было их искать, не от кого

ждать... Он именно хотел познакомиться с этой актриской, потому что она ему нравилась, потому что ему казалось, что она быть может хоть на мгновение вырвет его из этой апатии.

Он лениво потягивался в креслах и даже досадовал, зачем ему было приезжать в эту трущобу. Его бесил серый попугай и полушёпот в соседней комнате. Наконец, он не выдержал, схватился за шляпу и в это время увидел в соседней комнате входившую Эрде. Он положил шляпу на место и почувствовал, что очень хорошо сделал оставшись.

Талалаев расшаркался и уехал. Веркутов представил ей Ракитина. Вблизи она была очень хорошенькая, такая свеженькая, молоденькая, душистая. Верхняя часть её лица была в полутени от широкополой шляпы, может быть слишком модной для такой у молодой девушки. Глаза не сверкали как вчера искрами, а сияли таким ровным, лучистым светом. Она конфузилась, что приехала одна, и всё озиралась по сторонам.

— Меня папочка прислал, он велел, чтоб я вас... — начала она, да вдруг поправилась, —

я хотела заехать, поблагодарить вас за вашу рецензию... что вы напишете... Вы так хорошо отзывались вчера обо мне.

— Да кто же может про вас дурно отзываться? — возразил Веркутов, — про хорошеньких, молоденьких актрис ни один рецензент дурно не отзовётся.

Она вдруг вспыхнула, кровь горячими потоками залила ей щёки.

— Неужели же я такая бездарность? — сказала она, и слёзы зазвенели в её голосе.

— Сохрани Бог! — воскликнул редактор, ловя её руку и целуя. — Да ведь вы же, наконец, знаете моё мнение о вас. В вас пропасть таланта, бездна. Я уверен, что со временем вы будете украшением нашей казённой сцены. Вот здесь (он показал на Ракитина) — сидит ваш поклонник: он тоже в восторге от вашей игры и вашего голоса.

Она потупилась. Ракитин ласково посмотрел на неё.

— Вы мне ужасно понравились, — подтвердил он. — В вас столько жизни и простоты.

Она покраснела ещё больше.

— Я театральный сторожил, — подтвердил Веркутов, — и я не запомню такого колоссального успеха при дебюте. И одно, одно единственное мнение у всех...

— Ах, ко мне очень снисходительны, очень! — совсем по-детски сказала она. — Вы приедете в воскресенье на второй мой дебют? И вы тоже?

Ракитин сказал, что приедет, и всё смотрел на её маленькое розовое ушко без серьги, что мягко круглилось между крутившихся прядей волос.

— Что ваш папа делает? — полюбопытствовал Веркутов.

— Папочка? Да ничего, как всегда. Ах, как он боялся за мой вчерашний дебют! Он очень добрый. В воскресенье опять будет для него мука. А как страшно выходить на большой сцене!.. Я вчера три раза пред спектаклем плакала... Пред самым выходом никак не могу вспомнить первых выходных слов. Режиссёр меня толкает: «Выходите», — а я боюсь. Ужас что такое!.. Вот теперь при одной мысли меня бьёт лихорадка.

— Не хотите ли нюи? — внезапно предло-

жил редактор.

— Что вы, что вы! — законфузилась она. — Я не пью вина. Да я к вам на минутку, мне пора.

— Посидите, куда вы...

— Нет... я вот вам привезла билет.

Она вынула из крохотного портмоне маленькую бумажку, сложенную вчетверо.

— Вы уж будьте добры приехать: это крайнее кресло.

— Непременно, непременно. Ну что, скажите, антрепренёр ваш?

— Ах, всё тот же!

И она вдруг рассказала про антрепренёра анекдот весьма двусмысленного свойства, но рассказала с таким невинным, детским видом, что вышло даже мило. Да и самое лучшее что в ней было, это какая-то детская чистота. Грех не мог коснуться её: она, казалось, вся была соткана из этой чистоты и свежести...

Ракитин воротился домой под странным впечатлением. Давно уж этого с ним не было. Он видел второй раз эту девочку. Ничего умного, выдающегося она не сказала, а между

тем в ней было что-то такое, что заставляло о ней думать и думать постоянно. Чем-то милым, давно отжитым пахнуло. Молодые, горячие грёзы растут и крепнут. Глаза застилаются словно дымкой, на лоб надвигаются складки, и дышится как-то чаще, порывистее, чем всегда. Комната окрасилась радужным цветом, и блеск его так и остался. Волшебный фонарь, неведомо какой и откуда, навел свои узорные тени всюду, куда ни упал его взгляд. И так хорошо-хорошо стало...

Он страдал полным сознанием одиночества, тем сознанием, которое охватывает человека, привыкшего с детства к семейной жизни и осуждённого на одинокую старость. Точно он брошен, забыт всеми. Где, куда девались те люди, что составляли когда-то жизнь его, радости, горе? Их словно ветер развеял. Нет их, — и так пусто, так пусто вокруг. Он рвался куда-то, к какому-то свету, к какому-то выходу. Когда он в первый раз увидел Эрде, ему показалось что-то похожее на проблеск вдали. Он отлично сознавал, что ничего особенного в ней нет: она не особенно хороша, вероятно не умна и уж конечно лишена вся-

кого образования. И всё-таки, несмотря на эту логику, его манило, влекло к ней...

Он поехал на её второй дебют. В душном театре было очень гадко; после летнего прозрачного вечернего света невыносимо скверно чадила керосиновая рампа. Оставалось удивляться, как могла сойтись эта разномастная толпа в этот барак, чтобы дышать воздухом, пропитанным углекислотой и копотью, вместо того чтобы гулять в душистом парке. Взвизгивание скрипок и красная колыхавшаяся занавесь могли быть милы разве одним завсегдатаям оперетки, которые, вытянув непомерные воротнички, стояли у барьера первого яруса, громко разговаривая и посматривая в ложи подмалёванных барынь, выставивших себя на выставку. Публика входила довольно лениво, словно делала кому одолжение своим присутствием. Кривоногий капельдинер нахально отрывал уголки билетов. «Ну, я приехал потому, что она мне нравится, — думал Ракитин, — а этот весь сброд здесь зачем?»

Он терпеливо поворачивал голову направо и налево. Маленький, седенький старичок,

редактор большой политической газеты, прошёл во второй ряд и тотчас заговорил с полковником, который, мило осклабившись, наклонился к нему с высоты гренадерского роста. Известная драматическая ingenue[5] поместилась в ложе с каким-то солидным господином, обладателем непомерных усов. Мохнатый капельмейстер вертелся на стуле и поглядывал на публику. Впечатление давалось не то клуба, не то балагана, не то какого-то провинциального захолустья. Во всяком случае, всем было очень скучно, все чего-то ждало, что их может развеселить, только уж отнюдь не той оперетки, которую собрались слушать.

Сотрудник в клетчатом шарфе подошёл к Ракитину почему-то в резиновых калошах, хотя погода была совершенно сухая.

— А я не знал, что вы любитель Буффа, — сказал он, хотя решительно не мог знать и противного. — Скажите, чем вчера кончилась история с Талалаевым?

— А право не знаю, — ответил Ракитин.

— Я думаю, Веркутов сорвал шерсти клок, так и надо с паршивых собак. Это коровы дой-

ные: кто может тот и дои, и дои их.

— Что он вам сделал? За что вы на него так озлоблены?

— На Талалаева? Капиталист — брюхач! Всех бы их, собачьих детей, в бараний рог!

Ракитин оглянулся, ему очень не нравился жаргон собеседника, особенно здесь, в театре.

— А если бы вы случайно сделались капиталистом, так и вас туда же?

«Сотрудник» изумлённо посмотрел на него.

— Да откуда же мне сделаться капиталистом, что вы бредите! — возразил он, и мягко ступая калошами, отошёл куда-то в сторону.

В антракте Веркутов дотронулся до плеча Ракитина.

— Пойдёмте к «папочке».

У выхода из театра в сад их дожидался старичок лет за пятьдесят, гладко бритый, с улыбающимся ртом и двумя чёрными зубами любопытно выглядывавшими оттуда. Глаза у него были серенькие, масляные. Ходил он приятно пошаркивая и изгибаясь, как в старину ходили в контрдансе. От него сильно пахло камфарой: должно быть сюртук его ви-

сел где-нибудь в шкафу, тщательно запакованном от моли. Он совсем расплылся от восторга, когда его представили Ракитину.

— Очень, очень рад знакомству, — каким-то носовым голосом заговорил он, вроде того как говорят заспавшиеся, только что проснувшиеся люди. — Моя дочь должна считать за честь... Вот господин Веркутов был настолько благосклонен, что соблаговолил отозваться сегодня о моей дочери в самых лестных выражениях...

Он всё шаркал и даже немного приседал.

— Я так забочусь, так, знаете, принимаю к сердцу её карьеру. Ведь кроме её у меня никого нет.

Он вынул платок и собирался заплакать, но это у него не вышло, и он вместо того высморкался.

— И вдруг сегодня в газете такой похвальный отзыв господина Веркутова. Я был тронут, тронут до глубины души.

Он поймал руку Веркутова и стал с остервенением её тряссти, схватя в обе ладони. Веркутов принял это как должную дань и даже не улыбался...

— Я это ценю, я сам был артистом, — продолжал «папочка», серьёзно закрыв глаза и покачивая головой, — двадцать лет слишком прослужил на императорской сцене. Я знаю, что значит рецензия, я её ценю.

Он ещё раз дёрнул Веркутова за руку и переменял тон.

— Вам не угодно ли заглянуть в уборную к Раиньке? Вы ей не мешаете, она к этому антракте не переодевается.

Он повёл Ракитина и редактора полутёмными сенями и какими-то закоулками на сцену. На лице его была написана снисходительная радость, точно губернёр детям собирался показать фокус. Пред жёлтенькою дощатою дверью он остановился, стукнул в неё два раза сухою костяшкой указательного пальца и прислушался.

— Entrez![6] — раздался чей-то бас.

В маленькой уборной, напоминавшей стойло, пред складным зеркалом, вокруг которого на столе разложены были принадлежности гримировки в стеклянных баночках с мельхиоровыми крышками, стояла в розовеньком коротеньком платице Рая. Тугой

корсажик стянул донельзя её маленькую гибкую талию, из-под юбочки выглядывали две крошечные ножки в ажурных чулках. Она держала в руках заячью лапку и хохотала над черноусым красивым брюнетом, у которого весь нос был в краске.

— Смотрите, ха-ха! — кричала она, — у князеньки нос какой, нос!

Князенька улыбался очень глупо, но не без достоинства, указывая этим, что если он и позволяет так обращаться со своею физиономией, то к этому принуждает его неизбежное стечение обстоятельств.

— Ах, ах! — забеспокоился папочка, — Раинька, разве так можно!.. Ваше сиятельство извините её...

— Ничего, ничего, — слегка вздыхая ответил тот и вытер нос полотенцем, вероятно, находя что при посторонних ему неприлично быть в таком виде.

— А я опять!.. — порывалась к нему Рая.

— Рая! — строго заметил папочка и нахмурился, — Рая, ты переходишь границы...

Рая стихла и начала здороваться с вошедшими.

— Вы, ваше сиятельство, помажьте носик кольдкремом, — советовал папочка, — а то так не отстанет. Вот неудобно ли из этой баночки?

Князь начал намазывать свой носик, из которого могло выйти по крайней мере три обыкновенные носа и который очевидно был кавказского происхождения. Папочка действительно помогал ему в этой операции.

— Вы сегодня очень милы, — ораторствовал Веркутов, — но в вашей игре мало экспансивности, обратите на это внимание.

Князь натёр себе нос до ярко-багрового цвета. Папочка предложил попудрить, тот отказался.

— Я пойду, — сказал он, обмахиваясь тончайшим батистом, от которого нестерпимо несло пачули. Ему видимо неприятно было присутствие посторонних. — Я пойду, меня ждут. Вы позволите мне в следующий антракт?

— Очень рада, — ответила Рая.

— Вы подумайте о том, что я говорил и дайте ответ что лучше... Ну-с, до свидания.

Он наклонился и поцеловал её руку так

крепко, что она даже покраснела.

— Проваливайте! — отрезала она, — вас ждут.

Когда дверь за ним затворилась, папочка так сжал себе руки, что они даже хрустнули.

— Что ты делаешь, Рая!.. — страшным шёпотом заговорил он, поглядывая на дверь с таким видом точно за нею дремал ужасный дракон, которого он боялся разбудить.

— Он мне надоедает, папочка, — не без испуга заговорила та, — всё ходит и ручки лижет.

— Рая, Рая... ты меня губишь...

Он отчаянно качнул головой и ринулся из уборной.

Рая посмотрела ему вслед прищурившись и стала бить носком правой ноги по полу.

— Скажите пожалуйста, отчего все мужчины такая дрянь? — обратилась она к Ракитину.

Тот не ожидал такого вопроса.

— Неужели все?

— Все, все... такая дрянь, такая... Я думала что лучше...

— Если вы судите по князю, то правы, —

отозвался Веркутов, — его нельзя пускать на порог.

Она ничего не ответила и повернулась к зеркалу.

— Он давно с вами знаком? — не отставал Веркутов.

— Недели три.

— Часто бывает?

— Каждый день.

Веркутов свистнул.

— Та-ак-с, приём известный. За границу не собирается ли?

— Да, он говорит, что ему зачем-то в Милан надо. Он едет туда на той неделе.

— Та-ак, та-ак, — подтверждал, ухмыляясь редактор:

*Das ist eine alte Geschichte
Doch bleibt sie immer alt*

А вам он нравится?

— Он красив, только такой противный, когда в глаза смотрит. Мне неприятно, что папочка так за ним бегаёт.

— Вы знаете, что он миллионер?

— Неужели?

— Страшно богат и деньгами сорит.

— Он сейчас приходил спрашивать, что мне послезавтра подарить, послезавтра день моего рождения. Хотите обедать ко мне? Пожалуйста! Вы будете? — обратилась она к Ракитину.

Тот сказал, что постарается.

— А вы? — спросила она у Веркутова.

— Я не могу, я послезавтра весь день в Павловске.

— Ну, чёрт с вами! Так вы приезжайте, — попросила она снова Ракитина, — пожалуйста, вы мне доставите большое удовольствие... Кроме того... кроме того мне надо с вами поговорить... посоветоваться в одном деле...

Она взяла его за руку и крепко стиснула.

— Вы такой, такой хороший, я с первого раза вижу. Вокруг всё такая дрянь... Приезжайте.

Он сказал, что непременно будет.

IV

Конец оперетки Ракитин дослушал совершенно машинально. Он был глух даже к успеху Раи, которую публика без конца вызывала.

Он не аплодировал, рассеянно поглядывал по сторонам, отвечал невпопад. Аеров рассказал ему, что в виду посещения Талалаева одна из редакций вывесила объявление: «при входе в редакционную комнату трости и зонтики оставляются в прихожей», и что редактор другого издания спит теперь не иначе как с шестью заряженными револьверами и между двумя подручными дворниками, которые одной рукой пятнадцать пудов поднимают. Всё это делалось из предосторожности «личного объяснения». Ракитин на это ответил одобрительным «а!» и, против ожидания Аерова, даже не улыбнулся.

Он ясно сознавал, в какую сторону клонится судьба несчастной девочки. Он придумывал, как бы спасти её, но как-то мысли путались, разбегались. Вопрос был очень большой и сложный.

Хор пел не пред ним, а где-то очень далеко от него, за какою-то туманною дымкой. Он не помнил, как он вышел из театра, приехал в город, лёг в постель. И на другой день опять всё та же мысль, неотвязная, назойливая, монотонная. Где выход? Ответа не было. Ответ

должна была жизнь подсказать.

Она и подсказала.

Когда он приехал на третий день на дачу Дементьевых и поднялся по печально скрипевшей лестнице во второй этаж, его встретила в сенях толстая, масляная кухарка с грязным полотенцем через плечо. Папочка растаял, расшаркался и повёл гостя в гостиную, где уже был накрыт обеденный стол и где сидели в сообществе Раи двое: князь и «комическая старуха» местной труппы, с очень добрым и глупым лицом. У князьки нос сегодня казался ещё длиннее. Держался князь прямо, точно аршин проглотил, но часто опускал глаза и задумывался. Раю очень обрадовалась Ракитину.

— Как я рада, как я рада! — говорила она вспыхивая и не зная куда девать вручённую ей коробку конфет. — Я так ждала вас и боялась, что вы не приедете. Мне вы очень нужны...

Князь был ужасно почтителен пред Ракитиным и даже дал ему вскользь заметить, что ему небезызвестна его прежняя литературная деятельность. Папочка плавал как в растоп-

ленном масле пред обоими гостями, игнорируя совершенно «комическую старуху». Рая казалась такою нервною. На ней было беленькое платье с широкою голубою лентой. Это к ней не шло и она казалась хуже чем всегда, щёки у неё были бледненькие, брови всё дёргались.

Обед оказался плоховатым: ростбиф подгорел, рыба была какая-то сомнительная, но зато вина недурны. Папочка раскутился, должно быть из каких-нибудь своих расчётов. Херес был даже очень хорош. Под конец обеда откупорили помери-сек.

— Представьте себе, — сказал папочка, — что при одном взгляде на это шампанское у меня поднимается ломота в плече.

Князь постарался удивиться.

— И ведь от какого обстоятельства...

Он начал рассказывать, что это было давно, когда ещё он ездил в провинцию на гастроль. «Комическая старуха» усомнилась в том, чтоб его когда бы то ни было приглашали провинциальные антрепренёры, но папочка только посмотрел на неё и продолжал свой рассказ. Он рассказал как однажды после

спектакля (он играл Ришелье, — и удивительно играл!) актёры, чувствуя его, «упились» по-мери-сек. Упившись, они стали пробовать револьвер, для чего приколотили на дверь бубнового туза.

— Я взялся следить за стрельбой, — повествовал он. — Первый выстрел сделал резонёр Иванов. Я ищу пули. нет нигде, ни на карте, ни около, ни на стене... Потом мне говорить: «А откуда у тебя кровь»?.. Пуля-то в плече оказалась...

— Ну, и вы, значит, хороши были, — заметил князь, — коли не чувствовали.

— А я слышал, что это не с вами был случай, а с одним известным актёром, — возразила опять «старуха».

Папочка даже сел к ней совсем задом, показывая этим своё полнейшее презрение к её словам.

Князь рассказал к случаю, как он ранил себя в руку, заряжая пистолет, и в доказательство показал, приподняв обшлаг, шрам. «Комическая старуха» постонала, папочка заволновался, Рак осталась равнодушною.

— А другая пуля у меня тут, — он показал

куда-то в бок. — Она катается, её можно даже прощупать.

После обеда, когда подали апельсины, князь напомнил Рае об её желании кататься и сказал, что достанет коляску. Рая попросила достать хорошую, только чтобы лошади были не вороные, а серые. Князь выправил свои белоснежные воротнички, провёл рукой по роскошной бороде, встряхнулся с полным сознанием довольства самим собой, надел блестящий как зеркало цилиндр, раскланялся и исчез.

Папочку заклонило. Он перемогался-перемогался, наконец извинился и пошёл отдыхать. «Комическая старуха» объявила, что ей надо учить роль в шесть листов, и что завтра репетиция, а потому съела три апельсина и, сложив симметрично зёрнышки на край тарелки, ушла, завернувшись в невозможную шаль. Ракитин и Рая остались одни.

— Пойдёмте в сад, — предложила она, и повела его в маленький, густо заросший палисадник, с молодыми первыми цветами на клумбах и зелёною кривою скамейкой под акацией. Она закрылась от вечернего солнца

маленьким зонтиком на алой подкладке и вздохнула.

— Как тяжело мне сегодня! — сказала она. — Я не запомню такого грустного дня моего рождения. Сердце сжимается как пред бедой, и здесь, — она показала на грудь, — так пусто, пусто.

Ракитин молчал, пристально глядя на неё.

— Вы знаете, я может быть на днях уезжаю отсюда?

— Куда это? — встрепенулся он.

— Далеко, очень далеко... за границу.

— Зачем?

— Князь зовёт меня...

— Князь? По какому праву?

Она пожала плечами.

— Он богат.

— И вы... — начал Ракитин, да остановился.

Она отвернулась, чтоб он не видел её лица.

— Как вам не грех? — мог только выговорить он.

Она отняла зонтик, которым прикрывалась.

— Грех? Пред кем?

— Предо всеми...

— Папочка сам этого хочет.

— Пред собой, наконец... У вас талант.

Она усмехнулась.

— Талант!.. Что талант! Что он мне принесёт?.. А тут обеспеченность, богатство...

— Обеспеченность?..

— Да, он передаст папочке какие-то бумаги на моё имя.

— И вы так хладнокровны? Не возмущены?

— Чем?.. Я себе принадлежу, и моя ответственность: что хочу, то и сделаю с собой...

— А сцена?

— Я люблю сцену! — она подняла глаза и каким-то восторгом они засветились, — это жизнь моя!.. что ж, я вернусь к ней.

— А этот... его вы любите?

Она покачала тихо головой.

— Нет... Да неужели же жить в этой обстановке лучше: заискивать у Веркутова, ездить по редакциям, плакать, когда какой-нибудь пьяный будет шикать после спетого номера... неужели лучше?.. Скажите по совести, откровенно, — ну?.. Вы молчите, молчите потому,

что сами знаете, что это пошло, всё пошло, всё... Меня никто не спасёт...

— Встряхнитесь, уйдите от этого «всего».

— Уйти? куда?.. куда я уйду?.. Я молода, я жить хочу.

— Выйдите замуж.

— За кого?.. Кто меня возьмёт? Опереточная певица! Какая завидная невеста!..

Он поник головой. Какая-то тупая боль пронизывала его всего, захватывала дыхание. Он оглядывался вокруг, эта залитая солнцем листва не шевелясь стояла в знойном воздухе, могильный покой был разлит вокруг. Медленно ползли наверху обрывочные, сверху жемчужные, снизу фиолетовые облака. Птицы куда-то забились, притихли. Мёртвая тишь. Ни звука.

— Что мне делать, что мне делать! — повторяла она.

Зонтик выпал и опрокинулся на песок. Она не плакала; глаза её были сухи, и с жёстким, холодным блеском смотрели в даль. Лицо как восковое.

— Подождите, подумайте...

— Князь говорит, что ответ ему нужен те-

перь... Смотрите, что он подарил мне.

Она протянула руку, на которой сверкал новенький драгоценный браслет.

— Зачем же вы взяли это от него?..

— Папочка велел.

Ракитин схватил её за руки.

— Деточка моя, бросьте их, уйдите от них!..

Что вам здесь... Оставьте их, пусть они здесь копошатся в этой тине...

Он прижал её пальцы к своим губам, глядя на неё с юношеским жаром. Седина и морщины словно слетели с него. Шляпа упала на землю, кудри рассыпались. Она схватила его шею руками и, прижавшись к нему, поцеловала его так крепко, крепко...

— Милый, хороший! — говорила она. — В вас одном я нашла сочувствие, вы один сказали мне доброе слово...

— Ну и что же что же?

Она отшатнулась от него.

— Поздно, поздно, теперь мне нет поворота.

— Как нет? да почему же? Всегда есть выход.

— Поздно... — повторила она. — Смотрите

вот и князь воротился, идёт сюда.

* * *

Она взяла с него слово, что он при первой возможности приедет к ним. Он думал через день заглянуть, но дела его задержали как нарочно. Прошло несколько дней. Между тем на афишах появился анонс, что она по болезни не может участвовать.

Наконец, он вырвался, поехал. Он подъезжал к их дому с предчувствием всего дурного, но того, что его встретило, он не ожидал.

Папочка вышел к нему в халате, с огромною заплатой назади. но посмотрел на него совсем не так ласково, как прежде, и протянутую руку пожал сухо.

— Раи нет, Раи нет, — заговорил он. видя, что гость собирается снять пальто, — она уехала совсем.

Кровь кинулась ему в голову.

— Куда?

— В Карлсбад. Доктора говорят, что ей надо лечиться.

— А театр как же?

— Что ж делать, неустойку придётся уплатить. Тяжело, очень тяжело...

— Как же это так вдруг, неожиданно...

— Да, да, удивительно.

Ракитин раскланялся и растерянно спустился вниз...

Дня через два он встретил на елагинской Стрелке Веркутова: он сидел в коляске с Талаевым, с которым очевидно был уже приятелем.

— Слышали? — весело говорил он, держа Ракитина за руку. — Папочка-то дочку пристроил! Молодец! И неустойку князьенка заплатил, и векселя выдал.

— А кто этот князь? — с усилием спросил Ракитин.

— Дрянцо, шулер, били уж его. Очень богатый. Ну что ж — она счастлива будет.

— Вы полагаете?

— Да отчего же нет?

— Он женится на ней?

— Да он женат. Он каждый год кого-нибудь увозит за границу, — старая песня... Впрочем, он обеспечивает. Не Бог вещь что, а тысяч двадцать даст и в моду введёт. Папочка это тонко распорядился.

Он ещё раз хихикнул и протянул ему руку.

Коляска, попрыгивая на каучуковых шинах, покати́лась.

Ракитину очень скучно. Хотел ехать за границу, да решил, что это глупо и остался. Впрочем, может быть через несколько недель он и поедет.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Черепъ	1
Легенда нашихъ дней	19
Соловьи	45
Римскій прокураторъ	55
Весною	75
Изъ лѣтняго альбома:	
I. Странная женщина	107
II. Въ лѣсу	119
Святочные огни	131
На рельсахъ	139
Кулисы:	
I. Тѣнь отца Гамлета	151
II. Статуя Командора	169
Мертвецы моря	195
Обитель	207
Изъ старыхъ сказаній	217
Тайна Юлія Федоровича	229
Ораторы.	241
Въ трясины болотной	255



Примечания

1

Ибо мы пыль и тень... Гораций

[^^^]

2

После полуночи верные сны (Гораций, Сатиры, Кн. 1, 10, 33).

[^^^]

Дух. — О, ужас! Ужас! Ужас!

Гамлет, принц датский. Акт I, Сцена V.
80. — Прим. ред.

[^^^]

4

Все цитаты из пьесы «Гамлет» приводятся в переводе Михаила Загуляева.

[^^^]

5

наивная, простодушная — фр.

[^^^]

Здесь: Входите!

[^^^]